

Друг, по горячему следу слез...

М. Цветаева

НАТАЛИЯ КРАВЧЕНКО

*По горячим
следам*

Приволжское книжное издательство
Саратов
2003

УДК 882-1
ББК 84 (2 Рос-Рус) 6-4
К 77

К 77

Кравченко Н.М.

По горячим следам – стихи, новеллы, эссе, памфлеты, заметки – Саратов: Приволжское книжное издательство, 2003. – 247с.

ISBN 5-7633-1054-3

Имя Наталии Кравченко – поэта, журналиста, литературоведа, лектора, автора одиннадцати книг стихов и прозы, широко известно в Саратове. Её творчество получило высокую оценку Льва Озерова, Юрия Левитанского, Александра Кушнера.

Эта книга – редкий случай присутствия и гармонического сочетания в одном сборнике стихов и прозы. В неё вошли только новые стихи поэтессы, написанные в 2002-2003 годах, а также лирические новеллы, эссе, сатирические памфлеты и юмористические заметки, основанные на автобиографическом материале.

ISBN 5-7633-1054-3

УДК 882-1
ББК 84 (Рос-Рус) 6-4

©Н.М. Кравченко

СТИХИ

*Я несу стихи в ладонях робко
В ореоле вспыхнувшей свечи.
Только с сердца – как со сковородки.
Не взывайте, если горячи!*

* * *

Из пекла да в польмя сердце просится,
Как Феникс, возрождаясь вдругоряд.
Горит в руках работа – если по сердцу.
А рукописи, к счастью, не горят.

В стране, где только верить да печалиться,
Века не отличая от зверей,
Глаголом жечь сердца не получается –
Сама им обожглась до волдырей.

Горит иных миров разногласица.
Огонь меня сжигает изнутри.
Горит на мне одежда, а не носится.
Вот шапка только, правда, не горит.

Горячих слез от мира не упрячу я,
Они прожгут безжизненные льды.
А на сердце горячие, горячие,
Горячие останутся следы.

* * *

Я схороню себя в своих стихах.
Нет, не увековечу – изувечу.
Я втисну в строчки искренность и страх,
И свой рассвет, и свой последний вечер.

Чтоб каждый стих звучал, дышал и пах,
Я жизнь свою в него вмещаю с хрустом.
То снега хруст, иль яблока в зубах,
Или костей, отрубленных Прокрустом?

Имя

*Наталья в переводе с латинского
означает родная, утешение.*

Жила – а как будто не жила,
Всю жизнь обратив в строку.
Кого я когда утешила
На долгом своём веку?

Стою с головой повинною
На стылом ветру одна.
Кому я была кровинкою?
Кому я была родна?

Любимый, тебе ли–правда ведь?
А вам ли, мои друзья?
Как трудно его оправдывать.
Но не оправдать нельзя.

* * *

Я не примеряю масок,
В зеркало глядясь.
Ни ужимок, ни гримасок
Нету отродясь.
Принимая укоризны,
На других дивлюсь.
Ни личиной, ни харизмой
Я не похваюсь.
Вся открыта перед вами
Сердцем и судьбой.
Может голыми руками
Взять меня любой.

* * *

*Что сказать мне о жизни?
Что оказалась длинной.
И. Бродский*

Жизнь оказалась мне не по росту.
Длинная. Я утонула в ней просто.
Не по фигуре. Не по нутру.
Не по карману. Не ко двору.
Не понимаю, как в ней живу я?
Сметана наспех, на нитку живу ю.
Не ожидали в аврале шитья,
Что в ней так долго жить буду я.
Жизнь обносилась. Я обнищала.
Но не пищала, хоть и трещало,
Где было тонко – с краю, по шву...
Не понимаю, как я живу.

* * *

То, что добро потоплено во зле –
Не для кого давно уже не тайна.
Не нахожу я места на земле.
Вишу в петле – пока ещё трамвайной.
Остановите! Я хочу сойти.
Сойти на нет, с ума, куда угодно!
Но выход преграждает на пути
Мне подлая смеющаяся кодла.

Глаза закрою: вижу их в гробах.
И только зубы стискиваю молча.
Нет, не трамвайной вишенкой в зубах –
В их глотке буду ягодкою волчьей!

* * *

Пройти по жизни невидимкой,
Чистюлей, льдинкой, нелюдимкой,
Неузнанно скользящей мимо
Того, что быть могло любимо.
Не запятив ни рук, ни платья,
Презрев объятья и проклятья,
Не знавшись с болью и тоскою,
Во имя воли и покоя
Парить в своём высоком небе,
Где пусто, холодно, как в склепе.
Парить безбрежно, белокрыльно,
С душой, где снежно и стерильно,
Где, только Богу потакая,
Живёт лишь муза, и людская
Нога там не ступала сроду...
Переборов свою природу,
И славы ангелов алкая, –
Кому нужна она, такая?

Окно

*Окно выходит в белые деревья.
Е. Евтушенко*

А у меня оно выходит в май,
В зелёный, свежий, шелестящий рай.
Напоминая разом лес и сад,
Мои миры расцветшие висят,
И ветка, как большой пушистый зверь,
В балконную заглядывает дверь.
Волной ольховой плещет у окна,
И от неё вся комната темна,
Но чем темней от лип и тополей,
Тем на душе и чище, и светлей.
Прощаю темень, семени труху
За зелень, сор, без коего стиху
Не вырасти, за веток перестук
Взамен руки, что не протянет друг,
Прощаю скрип и шорох по ночам

За этот свет божественный очам,
За этот ветра пробежавший ток,
Похожий так на детский лопоток,
За то, что несмотря на жуть и мрак
Распада, что не видывал Ламарк,
Сквозь смятение и срам нам брезжит по утрам
Природы чистый осиянный храм.

* * *

Лес тонул в жужжании и гуле.
Пробовали горло соловьи.
Травки слабосильные тянули
Вверх существования свои.
А туманы плыли в небе белом,
Чтобы лечь на землю точно в срок.
Каждый занимался своим делом,
Выполняя божеский урок.
Поднимались розовые зори,
Волны тихо бились о корму.
И до человеческого горя
Не было им дела никому.

* * *

Земля страданиями полна,
Как погляжу окрест.
Деревья бьются в твердь окна,
Луна несёт свой крест.
Дождь не устанет, весь в слезах,
Выстукивать стихи,
К которым люди в телесах
Останутся глухи.
На миг рождается рассвет,
Чтобы уйти во мглу.
И ветер воет что-то вслед,
Хватая за полу.
В какой-то безысходный круг
Силком вовлечено,
Всё стонет, корчится от мук
И всё обречено.

* * *

В окне квадрат Малевича
Намалевала ночь.
Луна глядит, жалеючи,
Не в силах нам помочь.

Привычная агония:
День прожит. Пробил час.
С агонией – в гармонии
Моя душа сейчас.

* * *

Когда не взвидишь света до зари,
Когда уже совсем к стене припёрло –
Вот тут-то муза и заговорит,
Вот тут и запоёшь-то во всё горло.

О мазохизм чумного на пиру!
Какой бы груз внутри себя ни вёз ты,
Чем горше жизнь – тем сладостней перу,
Чем ночь темней – тем ярче будут звёзды.

* * *

Меж светом и теменью – драка.
От солнца кровава роса.
Восстали деревья из мрака,
На вилы подняв небеса.

Не в благостной тихой молитве,
Бросающей тень на плетень,
А в страстной и яростной битве
Рождается будущий день.

Деревья

В такую бурю не пройти и метра –
Смерч, словно смерть, сбивает на ходу.
Деревья, искривлённые от ветра –
Как грешники, что корчатся в аду.

Протягивают сухонькие руки,
Моля тепла, покоя и любви,
И содрогаясь от бессильной муки
Быть понятыми Богом и людьми.

Скрипят деревья, ветру потакая.
Корёжит их незримая вина.
И чудится – они нас окликают,
Людские называя имена.

* * *

За углом берёза закадычная –
Словно от тоски моей таблетка.
Речь её прямая закавычена
Птичками, сидящими на ветках.
Вновь аллея эта в ноги бросилась,
Расстилая листьев одеяло.
Ива-плакса опростоволосилась,
Все свои гребёнки растеряла.
Что-то там себе они кумекают.
Бьётся в них душа своя живая.
С ними говорю, как с человеками,
О своих невзгодах забывая.

* * *

Кончался дождик. Шёл на убыль,
Последним жертвуя грошом.
И пели трубы, словно губы,
О чём-то свежем и большом.
Уже в предчувствии разлуки
С землёй, висел на волоске
И ввысь тянул худые руки.
Он с небом был накоротке.
О чём-то он бурчал, пророчил,
Твердил о том, что одинок...
Но память дождика короче
Предлинных рук его и ног.
Наутро он уже не помнит,
С кого в саду листву срывал,
Как он ломился в двери комнат,
И что он окнам заливал.

* * *

А на пороге осень –
Трефовая, бубновая...
Бросает карты в просинь –
На жизнь гадает новую.

А может, то не карты,
А золото монет,
То, что в огне азарта
Готова свесть на нет?

Что лето накопило,
Собрав в одной горсти,
Вмиг в горечи распыла
Всё по ветру пустив?

А может, и не деньги,
А что ценнее клада,
И что ей, словно Стеньке,
Швырнуть в пучину надо?

А может, то листовки
С призывом жечь и рушить,
Стволы дерев – винтовки,
Разделанные туши...

Мне осень ворожила,
Учила меня вздорному:
Разбрасываться жизнью
На все четыре стороны.

* * *

Мир – кропотливый ювелир,
Шлифует камешки столетий.
И жизни трепетный пунктир
На этом фоне незаметен.

Жизнь соткана из пустяков:
Осколков, капелек, безделок.
Их без поэзии очков
Не разглядеть. Рисунок мелок.

Так Блок, пылинку на ноже
Заметив, застывал, бывало,
И жизнь на новом вираже
Очам поэта представала.

Наброски, лёгкие штрихи...
Но из единственного мига
Однажды вырастут стихи,
Когда-нибудь родится книга.

Утро

Ночь опомнилась. Мгла рассеялась.
Тихо таяла без следа,
Но на что-то ещё надеялась
Растревоженная звезда.

В полусонном противостоянии
Заворочался шар земной.
И растаяло расстояние
Между завтра и мной.

Утро нежится в царстве грёзовом.
Так прозрачен его намёк.
Вздых о розовом, чём-то бросовом...
Раздувается уголёк.

Амба. Лопнула мира ампула,
В ночь просачивая зарю.
Утро – будущего преамбула.
Как сомнамбула, я смотрю:

Светом жиденьким озаримые,
В небе – контуры тополей...
Неприметное, неповторимое
Утро жизни моей.

Не мудрее – старее вечера,
Пробивающееся средь гардин,
Увеличивающее перечень
Невозможного впереди.

Я пытаюсь понять, на что оно –
Утро, вылупленное из сна,
В мир, где ныне мне уготовано
Место зрителя у окна.

* * *

Сонно нащупаю тапок.
Тает за окнами тьма.
Тихой крадущейся сапой
Сны покидают дома.

Влагой траву оросило.
Я из окошка смотрю,
Как эта ночь через силу
Переродится в зарю.

Утро – синоним пролога,
С жизнью единых кровей.
Яблоки солнечных блоков
Через авоськи ветвей.

Дня бытовое лекало.
Злоба. Усмешка юнца.
Всё это только начало,
Только начало конца.

* * *

В окне черно. Луна исходит жёлчью,
Кривясь на город.
Тоска собачья или даже волчья
Берёт за горло.

Зияет небо как сквозная рана,
Где гвозди – звёзды.
И для рассвета ещё слишком рано.
А может – поздно.

* * *

Вновь сижу – рука в руке – с тоскою,
Как с ночной больничною сиделкой.
Жизнь безделкой кажется такою,
С дьяволом бессмысленною сделкой.

Из окна прохладой потянуло.
Лбом к стеклу – в прощальной укоризне...
Ничего не слышно, кроме гула,
Ропота идущей мимо жизни.

* * *

На краешке любви, как на морской мели,
На грани бытия, на волосок от смерти...
Душа отделена от тела, от земли,
Летит куда-то в ночь посланием в конверте.

Расплавлена луна. Расширены зрачки
У звёзд, смотрящих вниз. Они за нас в ответе.
Рвать душу, как письмо, на мелкие клочки,
Пуская на распыл, на волю волн, на ветер...

Небесный почтальон не донесёт ответ.
Там, в путанице звёзд, какая-то ошибка.
Душа сошла на нет. Оскалился рассвет.
Застыла в облаках кровавая улыбка.

* * *

"Помоги мне", "пошли мне денег",
"Дай мне счастья в грядущем дне"...
Если б знать молитву без этих
Загребущих и жадных "мне"!

Сделай так, чтобы я любила
Больше жизнь, чем свои слова,
Чтоб однажды себя забыла,
Словно ветер, волна, трава.

Сделай так, чтобы больно было,
Чтоб понять, что ещё жива.

* * *

Я стучу в себя, как в стену:
"Как ты? Всё ещё жива?"
То рукой себя задену:
Ноги, плечи, голова –

Всё на месте, но не светит
Никому душа моя.
Не твоя, ничья на свете,
И сама я не своя.

Может быть, сходить в Горсправку?
Вынув несколько монет,
На себя подать заявку –
Есть такая или нет?

Сердце тукает слепое.
Я вникаю в свой недуг.
Словно в камере – с собою
Осторожный перестук.

Моя родная конура
Влечёт, как чёрная дыра –
Жить? Умирать?
Что наша жизнь? Игра, мура.
С ногами заберусь под бра
И – за тетрадь.

Я в нашу блочную дыру
Забьюсь, как зверь в свою нору.
Не всем везёт.
Однажды – ночью? Поутру? –
Я там когда-нибудь умру.
Качнётся ветка на ветру.
Ну вот и всё.

Теорема

Что-то в жизни каждому дано.
Надо доказать, чего ты стоишь.
Место, что в судьбе отведено
Для ответа, всё ещё пустое.

Опираясь не на чертежи,
А на то, что зыбко, эфемерно,
Пробую, осмеливаюсь жить,
Робко, неуверенно, неверно.

В каждой луже звёздочка дрожит.
Стебель пробивается сквозь кремний.
Всё это доказывает жизнь,
Словно знаки в школьной теореме.

В воздухе ликует стрекоза.
Бабочка соперничает с нею.
И деревья голосуют "за".
("Древо жизни вечно зеленеет.")

Нет пути, твержу себе, назад.
Выстоять – хоть не атлант, не стоик.
Надо исхитриться доказать
То, что жить на этом свете стоит.

* * *

Я жизни паршивой парашу
Очищу, прополощу,
В хрустальные рифмы украшу
И в чашу небес превращу.

Чтоб после молить, заклиная,
Любя, проклиная, вина,
Но горьким прозрением зная –
Не минет та чаша меня.

* * *

Был художник прост. Миллион ей роз
Подарил, отмыв все грехи.
Продал дом, потом стал он бомж, отброс.
Но любовь сильнее всех стихий.

Если ты поэт – всё на свете брось.
Свою жизнь преврати в стихи.

* * *

Выключаю телевизор:
Крики, бомбы, взрывы в шахте...
За окошком лунный мизер
И дождя бесшумный дактиль.

Где-то под горой убитых
Задышается Россия.
Здесь же – штор глухих защита
И стиха анестезия.

* * *

Как только снова небо вызвездит
И лампа вспыхнет, ослепя –
Даю подписку о невыезде
Из дома, из самой себя.

Даю подписку Богу, ангелам,
Ночной всевидящей судьбе,
Что – ни в Америку, ни в Англию,
Пока должна самой себе,

Пока должна я свету, музыке,
Пока слова ещё не те –
Клянусь, не выйду даже к мусорке,
Ни к раковине, ни к плите.

Я буду слушать звуки трубные,
Пока не искуплю греха
И не раскроются преступные
Хитросплетения стиха.

* * *

Комната о четырёх углах.
А я – её уголовница.
Я – преступница на словах.
Чернокнижница, чернословница.

Как тот раб, уж давно побег
Из себя самой замышляла я.
Но куда сбежит добровольный зек,
Вросший в логово обветшалое?

Мил домашний мне мой арест
В отрешённости своей дикости.
Видно здесь мне нести свой крест,
Пока смерть на волю не выпустит.

* * *

Музы худосочные заморыши,
Мясо поэтических основ:
Замыслов утробные зародыши,
Холостые выкидыши слов.

Разрожусь ли строчкой элегической
Иль сама их выброшу за борт, –
Только б не цензуры хирургической
Идеологический аборт.

* * *

Писать уж больше не могу.
Рука сейчас отвалится.
А голова моя – чугун,
В котором что-то варится.

Как отзовётся то, что в нём?
Кому-нибудь – понравится,
Кто – равнодушным будет пнём,
А кто-то и отравится.

* * *

Лелею искомые строчки,
Как будто приبلудных котят.
Такие ж они одиночки,
И так же вниманья хотят.

Дитёньюшей ласково кличу,
Даю им еду и питьё,
И всё, что они намурлычат,
Шутя выдаю за своё.

Но вот уж какую неделю
Меня эта мысль бередит:
Котят ли лелею на деле
Иль грею змею на груди?

И эта змея, как Олега,
Ужалит однажды до слез.
Поэзия – это не нега,
А полная гибель всерьёз.

* * *

Поэзия должна быть делом личным.
Кто Музу дома в старом пиджаке
Встречать не посчитает неприличным –
Тот с вечностью всегда накоротке.

Писать своё, до грани, до предела
Интимное, на смех или на грех.
Поэзия должна быть личным делом.
И лишь тогда она нужна для всех.

* * *

Поэзия границ не знает.
Ты возвращаешься домой,
Ногой устало дверь пиная,
Голодный, суетный и злой,

А тут она вдруг на пороге
Встречает, трепетно светла...
Иль даже раньше, на дороге,
Где машет ветками ветла.

Поэту нужно так немного.
Под каждым камнем спят стихи.
Вот пёс перебежал дорогу –
И в нём поэзии штрихи.

Идут её флюиды с крыши,
Где кот мяучью речь ведёт.
Прислушайся – и ты услышишь...
Взгляни вокруг – она нас ждёт.

* * *

Раньше знали их и птицы, и листва,
А потом их грязью мира с неба стёрло.
Я ищу неизреченные слова,
От которых перехватывает горло.

Сор планеты ворошу и ворожу.
Воскрешаю, как забытую порфиру.
Я их лентою судьбы перевяжу
И отправлю до востребованья миру.

* * *

Откуда рассвет приходит?
Куда уходит закат?
Какую из двух мелодий
Мы выберем наугад?

С горчинкой любая сладость.
А горечь порой сладка.
Куда утекает радость?
Откуда идёт тоска?

* * *

"Как дела? Какие планы?" –
Слышим часто от других.
"Как здоровье? Как зарплата?" –
Сами вопрошаем их.

Всяк во всё суёт свой носик
Так, как долг ему велит.
И никто, никто не спросит:
"Как душа? О чём болит?"

* * *

Смотрела вечер Евтушенко.
Порою ком стоял от слез.
Нет, не понять мне отношенья
Газет и желчи их желез,
Которой пишут о поэте,
Не стоя и его ногтя.
Ну что дались вам кофты эти!
Он любит праздник, он дитя.
Как вы кипите жаждой мщенья!
Как ненавидите успех!
Ведь он – живое воплощенье
Поэзии, живой для всех.
Любовь народа вам – обида,
А массы – словно слово "фас!"
Ума и сердца инвалиды,
Ей-богу, я жалею вас.
И слез своих, души озноба,
Всего, что не стереть годам,
Писаке, критикану, снобу
Я не отдам.

Ответ критикам

Я не гонюсь за метафорой.
Мне ни к чему шелуха,
Пёстрые рубища табора
Для маскировки стиха.

Жизни простое событие
Прятать, как в воду грехи?
Что это – срама прикрытие?
Сраму не имут стихи.

Я посылаю вас мысленно
Прямо – в единственный путь.
Самое главное – истина,
Голая правда и суть.

* * *

Всем посторонняя, всем неугодная,
Не в свои дровни села, негодная,
Да обогнать в них осмелилась тех,
Кто не прощает честный успех.

Всем заработанным, а не украденным,
До смерти не угодила я гадинам.
Всё потому, что была не как все,
Пятою спицей в их колесе.

Вечно те шавки в спину мне шамкали:
"Честь не по чину, по Сеньке ли шапка ли?"
Как бы моя ни сияла звезда –
Костью в их глотке буду всегда.

* * *

Поэзия... Болезнь или везенье?
Магнезия? Амброзии питьё?
Ты воскресенье, в небо вознесенье,
И гибель, и спасение моё!

Как радужно, мятежно и недужно
В душе, горящей на твоём огне.
Мне никого и ничего не нужно,
Когда с тобою я наедине.

Всё, что не ты – ничтожно и убого.
Со всей землёй роднит твоё родство.
И нету для меня иного бога,
Чем дудочки волшебной божество.

* * *

Когда цветов лежит копна,
Весь стол мой погребя,
Я чувствую себя как на
Похоронах себя.

Я всех цветов не обниму.
Смущением горю.
"Спасибо, что вы, ну к чему,
Не надо," – говорю.

Но что-то вот уже не так
Во мне и на земле.
Вся комната моя в цветах.
Душа моя в тепле.

Гляжу на хрупкость красоты,
На стеблей свежий срез,
И чувствую, как те цветы
Нужны мне позарез.

Фёдор Сологуб

Он ждал её. В окошко: "скоро ль?"—
Выглядывал на дно раз пять.
К обеду ставил два прибора
И простыни велел менять.

Вязанье с воткнутою спицей,
Тетради, книги, — всё, как в ту
Минуту, день, когда, как птица,
Она вспорхнула в высоту.

Когда ж Нева весною вскрылась
И тело, вмёрзшее меж льдин,
Нашли, когда ему открылось,
Что он воистину один,

Что никогда уж не разует
И не коснется этих губ,—
Не закричал, не обезумел,
А был спокоен Сологуб.

Застыло, как заледенело,
Его усталое лицо,
И на руку себе надел он
С любимой снятое кольцо.

Выл в голос ветер, отпевая...
Она, укутанная в шёлк,
В гробу лежала, как живая,
А он за гробом мёртвый шёл.

В своём миру далёком, дивном
Он затаился, тих и мал.
И никуда не выходил он,
И никого не принимал.

Когда ж минуло тридцать суток
Под тяжким бременем потерь,
И, опасаясь за рассудок
Поэта, застучали в дверь,

Увидели: свеча мерцала.
И цифры, цифры — счёту нет...
"А это — дифференциалы", —
Спокойно объяснил поэт.

О, не невротик, не фанатик,
С ума сошедший от тоски,
Поэт – он был же математик,
Ночами заполнял листки

Столбцами цифр, и, торжествуя,
Всё ж вычислил, что он не миф,
Что существует, существует
Тот свет, потусторонний мир!

И стал он появляться в свете,
Приветлив, ровен, как всегда.
Ведь то сам Бог ему ответил:
"Соединюсь ли с нею? – да!"

Решив важнейшую задачу,
Он снова жил, не видя дней.
И лишь стихи читал иначе,
Чем раньше, чем тогда, при ней...

Она ему являлась в нимбе.
Он ждал у бездны на краю,
Когда же он её обнимет
В раю, снегурочку свою.

Не ведая ни сном, ни духом,
Что знала лишь она сама:
Что в пропасть чёрную шагнула,
Любя другого без ума.

Борис Поплавский

В любой среде казался чужестранцем он,
Сошедшим со страниц Эдгара По, –
Поэт Руси из царства эмигрантского
С прививкою Верлена и Рембо.

Не сноб и не эстет в перчатках лаечных –
Дикарь, повеса, словом, низший класс...
Далёкой скрипкой в хоре балалаечном
Была его поэзия для нас.

Стихи являлись в вещих снах не раз ему,
Они росли как волны и трава –
Не подотчётны логике и разуму,
Вернувшиеся в музыку слова.

Бесчувствен к шуму славы, к звону денег ли,
Себе лишь сам и раб, и господин,
Из сотен монпарнасских современников
Он слышал эту музыку один.

Он знал, что мир оправдан только музыкой –
Мерилом всех поступков и утех.
Она была наградой и обузой,
Преградой того, чем был успех.

Высокое его косноязычие
Творило пир печали и тщеты:
Ничтожества античное величие,
Поэзию роскошной нищеты.

Его ни разу – даже ночью женщины –
Не видели без матовых очков.
Он укрывал зияющие трещины
Расширенных наркотиком зрачков.

Росинкой мака сыт был, с неба манною –
Бродяга, шантрапа, опиоман...
Надтреснутой мелодией шарманочной
Сочился в мир стихов его дурман.

Он нёсся в ночь планетой беззаконною,
Сжигая за собою все мосты,
Сходя с ума в пространство законное
От скорости, свободы, пустоты.

Фантазия бредовою заразою
Явила мозг. Он ею был ведом,
Рождая Аполлонов Безобразовых
И чёрных ослепительных мадонн.

Сквозь снежный сумрак мне мерцала тень его,
Кларнета пение, лиловый дым...
Как это полагается у гениев,
Он умер своевольно молодым.

В двадцатом он ушёл за море с Врангелем,
А в тридцать два – шагнул в ночную тьму...
Мир флагов, снега, дев, матросов, ангелов
Навек замолк. Но вопреки всему

Мелодией, вобравшей всю истерику
Души, преодолев её предел,
Домой с небес к единственному берегу
Он через смерть и время долетел.

Леонид Губанов

Отрок сказочный с обличем простолюдина, –
Был щербатым и губастым, как пескарь,
А душа пылала как огонь в посудине,
И в глазах была рублёвская тоска.

Не печатали поэта, не печатали.
Он оставлен был России на потом.
Словно шапку в рукава – в психушки прятали,
И ловил он, задыхаясь, воздух ртом.

Только в пику всем тычкам и поношениям,
Козням идеологических мудил,
Жизнь брожением была, самосожжением.
Он на сцену, как на плаху, выходил.

И распахивал всё то, что заколочено,
Словно вены, наши двери отворял,
И лилась потоком кровь его пророчества,
Одиночества катил девятый вал.

Ничего такого вроде бы серьёзного –
Ни наркотика, ни бритвы, ни петли.
Ни концлагеря, ни тюрем – время постное.
Но поэта всё же не уберегли.

Кровь бурлила и шальное сердце бухало,
И, казалось, наливал ему сам Бог.
Был он братом и по крови, и по духу им –
Всем великим собутыльникам эпох.

Нет, недаром, видно, так пытал-испытывал
И отметил щедрой метою Господь.
Недостаточность сердечная? Избыточность!
Не вмещалось это сердце в эту плоть.

И, пройдя его, слова сияли заново,
И срывали с уст молчания печать.
Невозможно их читать – стихи Губанова.
Ими можно лишь молиться и кричать.

* * *

Поэзия не знает дня рожденья.
Ещё не воплощённая в словах,
Она была озвучена гуденьем,
Журчанием, шептаньем в деревьях,

Небесным громом, рыком динозавров...
Заполнив чёрный космоса провал,
Зародыш поэтического завтра
В утробе мира тайно созревал.

Из бренной пены, вдохновенной дрожи,
Выпутывая голос из сетей,
Она рождалась, тишину корёжа
Страдальческим мычаньем предлюдей.

Теперь уже не вызнать, не исчислить,
Как чувства, переросшие инстинкт,
Преображались постепенно в мысли,
Как те потом перетекали в стих...

Добравшись до истоков этой жажды,
Себя на любопытстве я ловлю:
Кто, на каком наречии однажды
Исторг из глотки: "я...тебя...люблю!"?

Сквозь хаос ритмов, щебетанье птичьё
Пробилась мука музыки немой.
И было тех слогов косноязычье
Рождением поэзии самой.

* * *

Пока ещё не проклята,
Пока ещё не продана,
Любовь держите впроголодь,
От сытости помрёт она.

Пока она голодная –
Бесплотная, воздушная.
Накормишь – станет плотною,
Тяжёлой, равнодушною.

Не полетит по-прежнему
Заоблачными руслами.
Не оттого, что грешная,
А оттого, что грузная.

* * *

Жизни нет от полноты.
Нечего надеть.
Мне для счастья полноты
Надо похудеть.

Ненавижу полноту
И всё то, что с ней
Как-то связано в быту
Человеко-дней.

Полной грудью не дышу
(может лопнуть шов),
Полной рифмой не спешу
Украшать стишок.

Полноводная река –
Мне и та тошна,
И пошлее колобка
Полная луна.

Надо, надо, – говорю, –
Зверски голодать.
И готовностью горю
Полсебя отдать

В жертву будущей себе,
Стройной, как газель...
Голод с совестью в борьбе
Спорят и досель.

* * *

Варенье – ягоды подобие,
Подделка, слепок, суррогат.
Но как люблю к своей стыдобе я
Его горячий аромат!

О наслажденье терпкой сладости,
Что в ощущениях дано!
В своей невинной детской слабости
Я с Мандельштамом заодно.

* * *

Под аркой радуги, в кольце обнявших рук
Так ярки радости, не ведавшие мук.
И жизнь домашняя, ручная, как зверёк...
Любовь вчерашняя, я слышу твой упрёк.

Как мы под ливнями бежали под плащом,
Как счастье пили мы и жаждали ещё...
Осенним золотом закрыло вышину.
Прости мне, молодость, покой и тишину.

* * *

О, где тот младенческий пир,
Свет, бивший из скважин,
Когда был загадочен мир,
А не был загажен.

Когда и не брезжило дно
У чаши сосуда,
И всё нам казалось чудно,
И всё было – чудо.

* * *

Ну можно ль по душе – пешком,
Не снявши башмаков?
Душа теперь уже с душком,
Черна от синяков.

Была нетронута чиста,
Как горные снега.
Теперь на белизне листа
Следы от сапога.

В обитель тихой старины,
Зализывая кровь,
Душа уходит из страны
По имени "любовь."

* * *

Писем перечитыванье милых –
То, что пылью времени сокрыто –
Всё равно что разрывать могилы,
Где собака истины зарыта.

Словно в юность отворится дверца.
Ты поймёшь: ничто там не забыто.
Будешь плакать над разбитым сердцем,
Как старуха в сказке над корытом.

* * *

Давно я уже не летаю,
Не шью себе клеши уже,
А только прорехи летаю
В быту, и в судьбе, и в душе.

Что может быть ниже и плоше?
Рассыпался рай в шалаше.
А вместо летающих клёшей –
Калоши, лекало, клише.

* * *

Не умею и не буду
Штопать старые носки.
Пусть скопилось их до пуда –
Это ль повод для тоски?

Как бы жизнь свою заштопать,
Всё, что выпало порвать,
Все её прогалы чтобы
Нитками заштриховать.

Шила долго, да без толку.
Видно, дело моё швах.
Жизнь не слушает иголку,
Расползается на швах.

* * *

Как жизнь однообразна:
Трамвай, тетрадь, чаёк...
Как скуп на взгляд пристрастный
Сухой её паёк.

А то, что лучезарно –
Всего лишь только грим...
Как мы неблагодарны,
Когда так говорим.

* * *

И вновь, как в юности, почувдится
Вслед канувшей в ночи звезде –
Сегодня непременно сбудется...
Неважно – что, неважно, где...

Всё будет так же, как в четырнадцать,
Как в звёздный час, летящий миг,
Когда дурындою настырною
Ломилась к счастью напрямик.

* * *

О сирень четырёхстопная!
О языческий мой пир!
В её свежесть пышно-сдобную
Я впиваюсь, как вампир.

Лепесточек пятый прячется,
Чтоб не съели дураки.
И дарит мне это счастьеце
Кисть сиреневой руки.

Ах, цветочное пророчество!
Как наивен род людской.
Вдруг пахнуло одиночеством
И грядущею тоской.

* * *

Не жалко мне, чего не испытала.
Я радуюсь, чему никто не рад:
Что вечно будут муки от Тантала,
Что вечно будет зелен виноград.

Пусть недоступно манит плод запретный.
Благословенна жажда над ручьём.
Да не поддастся жизни шифр секретный
Разгадке, отпираемой ключом.

Прекрасно всё, что мной недостижимо,
Как в небесах далёкая звезда.
Пусть мёд течёт не по устам, а мимо –
Зато мне будет сладок он всегда.

Нам обладанье оставляет пепел.
Съесть или выпить – то же, что убить.
А вот любить звезду в высоком небе
Мне даже Бог не может запретить.

Послание

Я вижу луны в полумраке
Загадочный очерк лица,
Звёзд прыгающие знаки,
Похожих на почерк отца,

Снежинок узорное чудо,
Деревьев зловещую стать..
Всё это – послание оттуда
Для тех, кто умеет читать.

* * *

Поздравительные открытки,
Тиражированные слова.
Распродажа на диком рынке
Чьей-то дружбы, любви, родства.

Заштампованное искусство.
Золочёная вязь письма.
Заменитель живого чувства,
Жалкий слепок, протез ума.

Расписная фальшивка, нежить...
Погребла она под собой
И невысказанную нежность,
И невыплеснутую боль.

Заказное "люблю, желаю"
На душе не оставит след.
Так не шлите мне, умоляю,
Мёртвый глянец, чумной билет!

Тут не нужно большой отваги,
Чтоб однажды присесть в тиши,
И слова расцветут, как маки,
На обычном клочке бумаги,
Но свои, из своей души!

* * *

Без сучка и задоринки гладкая ложь,
Равнодушия сытый и гляцевый нолик.
Всё округло и залакированно сплошь.
Их ничем не зацепишь, ничем не возьмёшь.
Крутит жизнь без конца этот розовый ролик.

Так привычен, наезжен ровнёхонький путь.
Как боитесь прервать этот замкнутый круг вы!
Но откроет, прочтёт ли когда кто-нибудь
Заскорюзлую нежность, щемящую суть
И любви угловатой корявые буквы?

* * *

Я знаю, в жизни надо лгать:
Скрывать, кроить, кривить.
Без кройки платья не сметать,
Лишь тканью стан обвить.

Поток материи, скользя,
Струится, устрасив.
Твердят мне модники: "Нельзя!
Прохожих не смеси!"

Неноскость этого всего
Здесь каждому видна.
Ну что с того, ну что с того?
Я так ношу одна.

Презрев гармонию вещей,
У бездны на краю
Ни жизни, ни души своей
Кроить я не даю.

* * *

Ложь наострила лыжи.
Ляжет лапша на уши.
Лажам ноги лижет.
Боже, избавь от чуши!

Ложь нашу жизнь стреножит.
Сбрось с себя эту тушу!
Ложь ничего не сложит,
Только разрушит душу.

* * *

А если чуточку совру,
Прикинусь вещью гуру,
А если я сфальшивлю раз,
Кто догадается из вас?

Но это видят облака,
Хотя глядят издалека.
И это чувствует луна,
Читая строчки из окна.

* * *

Не прожить мне, как хотела,
Прямо, без опаски.
Душу не отнять от тела,
А лица от маски.

Но дожить бы мне, мечтаю,
До того предела,
Когда маска отлетает,
Как душа от тела.

* * *

Только правды хочу, только вещи, какой она есть.
Не любви к оболочке пустой – понимания сути.
Не похвал фимиама благовонный – не трогает лезть.
Не Фемиды бесстрастную речь – ибо кто они, судьи?

Не страшусь ни молвы поношенья, ни мстительных стрел.
Есть особая степень души, где уже не властвуют.
Я иду под упрёк, как солдаты идут под обстрел.
Только правды глоток, а потом пусть меня расстреляют.

Национал-патриотам

А вам, друзья, я так отважусь
Сказать, поскольку здесь живу я.
Люблю Россию, но не вашу,
Сусальную и неживую.

Люблю не миф, не сверхдержаву.
Я, здешних улиц уроженка,
Люблю Россию Окуджавы,
Шаламова и Евтушенко.

Не древних сказов благолепье,
Где столько патоки и фальши,
Не только пажити и степи,
Но и проспекты, и асфальты.

Не терема и не усадьбы,
Люблю Россию без рисовки.
Что в нос вы тычете нам лапти,
Коль сами носите кроссовки!

России благостной, обильной,
С икрой, что ели до отвала,
Той, что вы чванитесь умильно,
На свете не существовало.

России в мирном хороводе,
Молящейся под образами, —
Такой и не было в природе,
Её вы выдумали сами.

Люблю, не пряча слова злого,
Когда глупа она, жестока,
Русь Гоголя и Салтыкова,
Русь Чаадаева и Блока.

Не тот зовётся патриотом,
Кто водку хлещет, как Есенин,
А тот, кто делает хоть что-то,
Кто мрак пытается рассеять.

Россию любит, кто ей служит,
Кто за неё пойдёт на плаху,
А не позёр, что бьёт баклуши
И рвёт у ворота рубаху.

* * *

Страна больна смертельно. И преступно
Не видеть этих признаков в упор.
Спокойно спать, покуда запах трупный
Сочиться будет из щелей и пор.

Её кровавой рвоты от отравы
Гнилья помоек, радиовранья
Не видеть, воспевая лишь дубравы,
Берёзок шум да трели соловья.

Не любите Россию вы. Ну разве
Любовь это — в её последний миг
Хвалить красу, не замечая язвы,
И славить глас, не разумея крик?!

* * *

Нет, не былью, а антиутопией
Сделать сказку русским довелось.
Господи, ужель твои подобию
Нашу жизнь кроили вкривь и вкось?

Ставить антипамятники впору им.
Скотный двор растёт, весь мир объяв.
Слаб Замятин, отдыхает Оруэлл
Перед тем, что выдумала явь.

* * *

Век бесчинств и нечистот.
Боль его ношу в груди я.
С перебоями частот –
Времени тахикардия.

Бой часов – как сердца сбой.
Пульс отрывистый и дробный.
"Всё своё ношу с собой",
подавляя крик утробный.

Может, это снится мне?
Взрывы, пули, злые лица...
Под ногами в глубине
Пропасть чёрная дымится.

* * *

Не для меня газетного вранья
Подножный корм и рапортов победность.
Не для меня и сытные края.
О Родина, о нищая моя,
Я жизнь свою подам тебе на бедность.

Съешь и её... Как Блок, скрывая грусть,
В душе тая бесстрашного бесёнка,
Писал, – судить его я не берусь, –
Что слопала, гугнивая, мол, Русь,
"Как чушка, своего ты поросёнка."

Другой Руси на свете не найти.
На место в сердце нету претендента.
Но с этой мне страной не по пути.
И в ногу мне не хочется идти
С лукавым и гугнявым президентом.

* * *

Мне дождик грошовый в безлюдную рань
Дороже, чем ваша валютная дрянь.

Мне бросовый лучик и плёвый росток
Милее и лучше заморских порток.

Дешёвое небо, бесплатный закат
Ценнее, чем ваш дорогой суррогат.

* * *

Трёхкомнатное логово души
Меняю на безадресное небо.
Меняю символ века барыши
На то, что бескорыстно и нелепо.

Меняю ваши баксы на рубли,
(Ведь у советских собственная гордость.)
Всех расписных красавчиков земли
Меняю на единственную морду.

Меняю весь свой жизненный улов
На золотую рыбку-одиночку
И тысячу своих дурацких слов
На Пушкина божественную строчку.

* * *

И вгрызается в горло нам век-бультерьер...
Мир издохнет от кровопотерь.
Дрессировщик – хозяин его – изувер,
Им науськан безжалостный зверь.

Этот пёс кровожаднее, чем волкодав.
Ему жизнь человека – обед.
Как же нам, не приемлющим волчий устав,
Одолеть тебя, век-людоед?

* * *

*У врат обители святой
Стоял просящий подаянья...
М. Лермонтов*

Стоит он, молящий о чуде.
Глаза источают беду.
– Подайте, пожалуйста, люди,
На водку, на хлеб и еду!

И тянет ладонь через силу,
И тупо взирает вокруг.
Да кто же подаст тебе, милый?
Россия – в лесу этих рук.

Я еду в троллейбусе тёплом.
Луч солнца играет в окне.
Но бьётся, колотится в стёкла:
"Подайте, подайте и мне!

Подайте мне прежние годы,
Уплывшие в вечную ночь,
Подайте надежды, свободы,
Подайте тоску превозмочь!

Подайте опоры, гарантий,
Спасенья от избранных каст,
Подайте, подайте, подайте..."
Никто. Ничего. Не подаст.

* * *

Не от мира сего, а от мира всего
Я живу, не прося у него ничего.

Мне поездить по миру, увы, не пришлось,
Но в душе не держу ни обиду, ни злость.

Лишь бы мне по нему не пойти бы с сумой,
Постепенно сливаясь с вселенскою тьмой.

* * *

Нет хлеба. Что ж, не страшно.
Хватаю горсть монет,
Бегу, а там – бумажка:
"Закрыто на обед."

Нет масла, макарон.
Семь бед – один ответ.
Спешу я к гастроному,
А на дверях – "обед."

Гляжу в слезах бессилья:
Нигде мне ходу нет.
Как будто вся Россия
Закрыта на обед.

* * *

Русь – огромная деревня,
Что ни в чём – ногой ни в зуб,
Словно мёртвая царевна,
Ждёт спасенья – чьих-то губ.

Елисей прекрасный, где ж ты?
Оживи, спаси, явись!
Полумёртвая надежда
Простирает руки ввысь.

Скоро явится он сам уж,
Прямо с неба, как презент,
И возьмёт Россию замуж
Королевич-президент.

* * *

На верёвке сохнут вещи.
Летняя истома.
Одинокий флаг трепещет
Над балконом дома.

В вышине, где тонет око,
В беспределе неба
Он – как парус, одинокий
И такой нелепый.

* * *

Ты склонись надо мною в молитве,
Что, подобно печали, прочна.
Потому что, готовая к битве,
Я заранее обречена.

Заколотят доской гробовую.
Наметут над могилой снега...
Но опять я воскресну для боя,
Если рядом почую врага.

* * *

А в воздухе веет прохладой.
Даль неба тиха и нежна...
Себя вопрошаю с досадой:
Чего же ещё тебе надо?
Какого-такого рожна?

Весна лучезарна и шала,
Но сердцу уже не нужна.
Себе отвечаю устало:
Рожна мне ещё не хватало.
Вот именно. Только рожна.

Наверное, рожа – как блюдо.
Посмотришь – и сразу смешно...
Какое оно и откуда,
И кем рожено это чудо
С дурацким названьем "рожно"?

* * *

Телефон звонит в передней.
Я задерживаю шаг.
Почему-то медлю, медлю
Трубку тронуть за рычаг.

И гадаю: чей же голос
Прозвучит сейчас в тиши,
Утоляя вечный голод
Пира жаждущей души?

Кто хранит в уме неброский
Телефонный номер мой?
Кто так одинок сиротски,
Что звонит ко мне домой?

Чьё так искренно участие
И нужна я так кому,
Что звонок уж четверть часа
Надрывается в дому?

Я спешу на роскошь пира,
В мыслях радуюсь: виват!
– Это сауна? Квартира?!
Обознался. Виноват.

* * *

Диск телефонный. Терпенья зенит.
Ждѣшь, задыхаясь, подмоги, совета.
А механический голос бубнит:
"Ждите ответа. Ждите ответа."

Что нам готовит слепая судьба?
Как избежать нищеты и навета?
К Богу, рыдая, взывает толпа.
Ждите ответа. Ждите ответа.

Рвѣтся письмо к той, кого целовал,
Даль побеждая всесилием света.
В ящике чёрный зияет провал.
Ждите ответа. Ждите ответа.

Всё безответно: волна и листва.
Словно на отклик наложено вето.
Снова на ветер бросаю слова.
Ждите ответа. Ждите ответа.

* * *

Телефоны, телефоны...
Книжки стёртые края.
Каждый год их не без стона
Прочь вычёркиваю я.

С кем-то дружба разорвалась,
Переехала родня,
В ком-то разочаровалась,
Кто-то позабыл меня.

Ежегодные растравы.
Тонет комната в тиши.
Телефоны – преправы
От души и до души...

Вновь заполнены страницы.
Цифры – шифры новых встреч.
Как бы книжке сохраниться,
Всё, что в сердце – убережь?

Если есть ты, Боже, где-то,
Звуком на душу навей
Телефон тепла и света,
Адрес радости моей.

* * *

Скажи мне, кто не одинок?
В души пустынном помещенье
Ютится нежности щенок,
Скуля тихонько о прощенье.

Непоправимо одинок
Всяк в этом мире однобоком.
Щенок – заплаканный комок –
Всё тычется под левый бок.
Кому-нибудь он выйдет боком.

* * *

Дверь покосилась. Змеиные трещины
Вьются по стенам. Сверху – вода.
Что-то здесь было кем-то обещано,
Но уж не вспомнить, кем и когда.

Страшно под этой крышей дамокловой.
Скоро не будет здесь ни души.
Сердце сквозит разбитыми окнами.
Дом опустевший моей души.

* * *

Пророки вечно в дураках.
Их жизнь тому порукой.
И ангел в серых облаках
Глядит сердитой букой.

Как будто лишь одну вина
Во всей вселенской дури,
Он смотрит сверху на меня,
Как волк в овечьей шкуре.

* * *

Пусть кто-то будет резок крайне,
Пусть кто-то борется и спорит,
А я – за гранью, я – за гранью
Добра и зла, любви и горя.

Пусть кто-то там слюною брызжет,
Кричит и кроет что есть мочи, –
Я буду выше этой крыши
И тише украинской ночи.

Меня не соблазните дрянью.
Дразните – буду словно пень я.
Ведь я – за гранью, я – за гранью...
Не выводите из терпенья.

* * *

Союз графоманов чеговамугодных,
Сплотила вас вместе бездарность бесплодных.
Содружество пьяных расплывшихся морд,
Где каждый вписался в один натюрморт:

На фоне своих доморощенных книжек –
А кто их читает? Да сами они же! –
Сидит среди водки, вина, огурцов
И мнит: он Высоцкий! Есенин! Рубцов!

* * *

Вот поэт, зовётся Цветик.
Он напишет вам сонетик.
Он не лабух, не лопух,
Он поэтик Винни-Пух.

В голове его опилки,
Рифмы копяся в затылке.
Громоздясь на пьедестал,
Он нас всех уже достал.

Графоманы, графоманы –
Песни, повести, романы...
В них вся совесть, ум и честь –
Не издать и не прочесть.

Сколько их? Куда их гонят?
Что в шкафу они хоронят?
Кипы папок, ни рубля
И отказов штабеля.

Заберётся на диванчик
Наш болванчик-одуванчик
И вершит души полёт.
Ай да Цветик-виршеплёт!

С музой заключая сделки
На шумелки и пыхтелки,
Он плодит их, как акын.
Ай да Винни, сукин сын!

Это творчеством зовётся.
Слово наше отзовётся.
Бочку – даром что пусту –
Слышно людям за версту.

Мопассаны, Г., Т. Манны
Тоже были графоманы.
Просто этим повезло.
И опять судьбе назло

Он над опусом колдует...
Бог иль сын его диктует.
Так они вдвоем с Христом
Лист марают за листом.

Если вирши не по вкусу –
Все претензии к Иисусу.
Это он надиктовал
Сей продукции обвал.

Вы не смейтесь над поэтом.
Он явился к вам с приветом.
У него надменный вид.
Будет Цветик знаменит.

Он не пашет и не строит,
Он – звезда, он астероид,
Залетевший издаля
На планету к нам Земля.

Вот пройдёт лет двести-триста –
Он тогда, как Монте-Кристо
Критиканам отомстит –
Высоко наш Пух взлетит.

Будет он в обойме звёздной.
Мы поймём, да будет поздно,
Что такую-то строку
Не найти во всём веку.

Графоманы, графоманы...
Где же ваши Эккерманы?
Каждый сам себе божок.
Пожалей его, дружок.

Цветик, Винни-Пух, Незнайка, –
Своё имя выбирай-ка.
Чем не звучный псевдоним?
Кто скрывается под ним?

* * *

Меня от Достоевского знобит:
Углы, подвалы, жёлтые билеты...
Герой всегда изломан и забит,
И что ни героиня – то с приветом.

Истерики, чахоточных плевки...
То в дрожь тебя бросает, то в зевоту.
О мир, где вместо неба – чердаки,
А лучшие из лучших – идиоты!

* * *

Душа глухонемая, безъязыкая –
Забыла все нездешние слова.
Такая жизнь бездушная и дикая,
Что у души все отняты права.

Она уже не грустная, а грубая.
Ей пища не амброзия, а дрянь.
Хотела бы сказать: "На холмах Грузии..."
А извергает матерную брань.

* * *

В мире зла и бизнеса, что низмен,
Где стихи – синоним слова "чушь",
Призраки – отнюдь не коммунизма –
Бродят по ступеням наших душ.

С трепетностью первого причастья
Бледной тенью ходят за людьми
Призраки несбывшегося счастья,
Неосуществившейся любви.

Словно Божья жалость или милость –
Этот сон, приснившийся во мгле,
То, что обещалось и томилось,
Но не приключилось на земле.

И порою думалось мне втайне,
Что журавль воздушный вдалеке –
Подлиннее, ближе и реальней,
Чем синица в цепком кулаке.

Лунная соната

Тянусь руками, как сомнамбула,
За лунным камнем из окна.
И приземлённой жизни фабула
Мне непонятна и скучна.

Я балансирую на узенькой
Дорожке лунной из теней.
О жизни мне расскажет музыка,
О том, что – до, и что – за ней.

Вольно же ей над нами тешиться.
Душа взмывает кверху дном.
Она ведь ни на чём не держится,
Как лунный лучик за окном.

* * *

Луне, как и мне, не спится.
Отчетливый профиль сердит.
Сквозь ветви, как сквозь ресницы,
Бессонное око глядит.

Прожектором жёлтым шаря,
Что ищет в моей глубине?
Не девочка я на шаре –
Мюнхгаузен на луне.

Зелье

Отведай мой – хвала Иисусу! –
Ночной коктейль (или цифирь?)
В него положены по вкусу
Луны лимон и звёзд имбирь.

До самого явления Феба
Тяни напиток тот в тиши
Из чаши драгоценной неба
Через соломинку души.

Испей – и не бывать обиде,
Беде...а сам виновник грёз
В глазах восторженно увидит
Полночный след луны и звёзд.

* * *

Надену старый свитер чёрный,
До самых глаз надвину ворот,
Чтобы о том, что в сердце сорно,
Чёрно, угарно и минорно,
Вовек не догадался ворог.

Который был когда-то дорог.

* * *

Расплакался дождь. Не от боли,
А просто без всяких причин.
Земля приняла поневоле
Одну из небесных кручин.

И дождю так помогала
Умением всё принимать,
И слезы его промокала,
Как старая добрая мать.

* * *

Я столкнулась с дождей беспределом.
Мир захлёбывается в дождях.
Извиваясь чашуйчатым телом,
Пляшут бешено на площадях

Их дождевики, дробинки, сардинки...
Обретая вселенский размах,
Превращаются в градинки, льдинки,
Бьют чечётку на головах.

И жила несусветная сила
В тонких жилах химеры босой.
Беспредметная ярость сквозила
И косила, как будто косой.

Только краешек выглянул солнца –
Дождь беспомощен стал и нелеп.
Был похож на косоного японца,
А теперь и подавно ослеп.

* * *

Когда-нибудь накроет прессом,
Жизнь обломает, как сирень,
И я уйду порожним рейсом
За даль просторов и морей.

Заря размашистую кровью
Небесный тиснет некролог,
А дождь заплачет в изголовье,
Смягчив его казённый слог.

* * *

"Меня никто не любит, только Бог", –
Она сказала, и меня пронзила
Горючих слов, запёкшихся в комок,
Слепая и бесхитростная сила.

Но я была не в силах верить в них,
Глядясь в озёра глаз её усталых.
Душе своей, прозрачной, как родник,
Себе самой цены она не знала.

"Молилась я... И Бог мне помогал.
О, если б вам могла то передать я..."
И я училась, точно по слогам,
Неведомой чудесной благодати.

Наука оказалась нелегка.
У каждого в миру своя дорога.
И, слава богу, на земле пока
Мне есть кого любить помимо Бога.

* * *

На небе сейчас ни облачка.
Сердечки трепещут листьев.
И я не стыжусь нисколько
Банальности вечных истин.

Как будто мозги прочистило,
И ты понимаешь снова:
Вначале всего поистине
Господнее было слово.

Не надо тумана, мистики,
Всей этой словесной пудры.
А только б сердечки листиков
Да ясное это утро.

Как будто весь сор повывтрясло,
И мира чиста основа.
Как после стихов бесхитростных
Валерии Соколовой.

* * *

Вчера на Шилова ходили мы.
Мы вышли чище и добрей.
Стихийный зрителей консилиум
Бурлил и спорил у дверей.

Цедили снобы: "Фотография!
Излишне яркие цвета."
Картины явно не потрафили
Тем, чья душа была пуста.

Слова не слушая огульные,
Мы шли неведомо куда.
Я ту старушку над багульником
Не позабуду никогда.

Монашка в чёрном Богу молится,
Но молодость в глазах сильнее...
А эта шкодница, что "модница",
С наивной шляпкою своей!

Я не пойму, как это сделано?
Румянец щёк, бровей сурьма...
Да, техника. Но в этом дело ли?
Здесь жизнь сама, любовь сама!

Старик с такой тоскою братскою
Ласкавший сеттера у ног...
А эти матери солдатские
С бессильным выдохом: "сынок!"

Легли морщины поперечные,
А взгляд так ясен и глубок.
Какие лица человеческие!
А снобы говорят: "лубок."

* * *

Ну сколько можно о Марине! –
Безмолвный слышу я упрёк.
Но я – о дочке, об Ирине.
О той, что Бог не уберёг.

Читала записные книжки.
О ужас. Как она могла!
Не "за ночь оказалась лишней"
Её рука. Всегда была!

Нет, не любила, не любила
Марина дочери второй.
Клеймила, презирала, била,
Жестоко мучала порой.

В тетради жёлчью истекают
Бесчеловечные слова:
"Она глупа. В кого такая?
Заткнута пробкой голова."

Всё лопотала и тянула
Своё извечное "ду-ду"...
Её привязывали к стулу
И забывали дать еду.

Как бедной сахара хотелось,
И билось об пол головой
Худое крохотное тело,
И страшен был недетский вой.

"Ну дайте маленькой хоть каплю", –
Сказала, не стерпев, одна.
"Нет, это Але, только Але, –
Марина – той, – она больна."

И плакала она всё пуще,
И улетела в никуда...
А может, там, в небесных кущах,
Ждала её своя звезда?

Являлась в снах ли ей зловещих?
Всё поглотил стихов запой.
Уехав, ни единой вещи
Ирины не взяла с собой.

Я не сужу, но сердце ноет,
Отказываясь понимать:
Поэт, любимый всей страной,
Была чудовищной женою,
Была чудовищная мать.

* * *

Н. Могуевой

Женщина, влюблённая в природу,
В музыку, поэзию, собак.
На балконе рвутся на свободу
Ленты, заменяющие флаг,

Трёх цветов. И полыхает, жарок,
Поражая посторонний взор,
Резеды, петуний и фиалок
Тщательно продуманный узор.

Слушает она в магнитофоне
Голоса весёлых певчих птах,
Засыпает ночью на балконе,
Утопая в звёздах и цветах.

В дневнике записывает мысли,
Уходя в себя от суеты,
Пишет замечательные письма
И печёт чудесные торты.

Женщина, живущая во власти
Тайного свеченья своего, –
Как она заслуживает счастья,
Сотворив его из ничего.

Это очарованное сердце
Не коснулась зависть или злость.
У его огня и мне согреться,
Как, должно быть, многим, довелось.

* * *

Тамаре

О женщина! Не различить лица.
Как имя твоё, открой?
"Вот дура", – кто-то плюнет в сердцах.
"Святая", – вздохнёт второй.

Но будет для всех лучом и ручьём,
Чтоб мир не иссох, не сдох.
"Блаженная", – кто-то пожмёт плечом.
"Счастливая", – слышен вздох...

Бабье лето

Как будто и льнёшь, и ждёшь, но
Душа – как в параличе.
Нежна, но так ненадёжна
Рука на женском плече.

Осеннего дня короче
Тепло той ласки хмельной.
А утро мудрее ночи,
Жесточе и одиноче.
Спать вместе, а плакать одной.

Анкета

Перед ним лежал листок анкеты.
Взгляд его беспомощно блуждал.
Что тут думать, право, над ответом?
Не был. Не имел. Не состоял.

Вспоминал по Гамбургскому счёту
Всё, что было, мучило и жглось.
А в висках стучало обречённо:
"Не пришлось. Не вышло. Не сбылось."

Сосед

Эти не читают Пруста.
Всё, что свет – для них темно.
Он потянется до хруста
И – с утра за домино.

Крики "рыба", "пусто-пусто" –
От темна и до темна.
И кричала: "Чтоб те пусто!" –
Из окна ему жена.

Жизнь прошла без мысли, чувства...
Как-то встретила его.
А в глазах-то – пусто-пусто...
И мертво.

* * *

Что значит –на картошку посылать,
На посевную, овощную базу,
Младое племя – что за благодать! –
Наверное, не слышало ни разу.

История не раз их удивит
Словами: "персоналка", "аморалка",
"Звать на ковёр", "поставили на вид".
Сейчас они звучат смешно и жалко.

Давно уж снят студенческий значок.
Сор времени давно исчез из виду.
Но вспомню, как не ставили зачёт
Мне Ленинский – и не унять обиду.

* * *

Меня не обманывали деревья,
Книг хэппи энды, вещие сны.
Зверьё не обманывало доверья,
Птиц предсказанья были верны.

Ни гриб в лесу, ни ромашка-лютик,
Ни родники, что манили пить.
А обманывали только люди,
Которых я пыталась любить.

* * *

Шарманщики, акыны, трубадуры,
Хуглары и бродячие певцы,
Как далеки вы от литературы,
Людских отар живые бубенцы.

Природный голос доброго и злого,
Вы – воплощенье всех её стихий.
Засушенными бабочками слова
Казались вам печатные стихи.

Растили музу вы не в кабинете,
Не в пыльной тишине библиотек –
Под звёздным небом, в поле на рассвете,
Там, где свободно дышит человек.

В тени оливы, в зелени ранета
Струился вашей музыки родник.
Вы были сердцем, улицей, планетой,
А не сухими строчками о них.

Поэт

Несбыточен быт, безнадёжна надежда,
Давно обносилась худая одежда,
Во рту – ни росинки, в кармане – ни гроша,
С душою бродяги – Вийона, Гавроша,
Бредёт он по жизни, Всевышним отмечен,
И строк жемчуга свои под ноги мечет.
Но люди их топчут бездумно и тупо,
И жёлуди предпочитают под дубом.

* * *

*О своём я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На ещё безмятежной челе.*

А.Ахматова

Ты – на целую тоску
Старше, больше и богаче.
Я храню твою строку
И порой над нею плачу.

Жизнь или смерть тебе сестра?
Вижу с болью безутешной
Отблеск адава костра
На челе твоём мятежном.

Мальчик с белых похорон
Без забрала и без кожи...
Ты из тех, других ворон,
Из породы непохожих.

Воспари же над собой,
Над обидой и бедою,
Не сгори в ночи слепой
Оборвавшейся звездой.

Нежность прячется в строфу.
Строчек сбитые коленки...
В синей папке на шкафу
Я храню твои нетленки.

* * *

Ты пишешь наотмашь, под дых, наповал,
Беря за грудки и за жабры,
Потоками строчек замордовав,
Как будто ударами швабры.

Пусть в ужасе жмурятся сноб и эстет,
Пусть валяются все, кто нестойки.
В небесных-то куцах – ну кто не поэт?
Вот ты будь поэтом в помойке!

* * *

*Я – чокнутый, как рюмочка в шкафу
Надтреснутая.. но и ты – с приветом.
А. Кушнер*

*Она пьёт водку, словно подданная
русская.*

О. Митяев

Под этим небом, выпитым до дна,
Вернее, штукатурным небом в триста
Свечей, немного красного вина –
И мир бездомный обретает пристань.

Мы чокаемся рюмочками всклень, –
И звук стекла, как нота, ухо режет –
За этот дом, за сталинскую смерть,
За твой успех, что за горами брезжит.

"Как подданная русская..." – сей дар
Мне не был дан, расхристан и неистов.
Ты пьёшь один данайцев солнцедар.
Так спаивают русских сионисты.

Чем чаще взмах бестрепетной руки –
Тем музыка души твоей всё глуше.
Я вижу, как глотки твои горьки,
Как тело перекрикивает душу.

Остановись! Не отдавай за грош
Заветной ноты чистоту и мяту.
Пока еще ладонь не смяла дрожь,
Пока ещё душа твоя не смята.

О Божья матерь! Старенькая мать!
Дай вынести из ада помрачений,
У времени, у горя отстоять
И облегчённо чокнуться в колени.

Душа моя то плачет, то поёт
У краешка стола, как у причала.
И, как дворяжка, лапу подаёт
Твоей душе, больной и одичалой.

О пьяниц и поэтов братский класс!
Бредёте вы, куда не зная сами,
То с наливными рюмочками глаз,
То с кроличьими красными глазами.

Физкульт-привет! Что – этот хмель земной
Против того небесного букета?!
Я – чокнутая рюмочка с виной
Взамен вина. Но ведь и ты – с приветом.

* * *

Ты весь – как заросший, запущенный сад,
Откуда уже нет дороги назад.

Запущенный шарик в земной непокой
В небесном угаре Всевышней рукой.

Игрушка на ёлке, кружась и слепя,
Напомнит, как в детстве дразнили тебя.

Но кокнулся шарик – такие дела.
И трещина та через сердце прошла.

Заплаканный мальчик поёт о весне,
Но падает белогорячечный снег.

Деревья, как демоны, встав на пути,
Пророчут, что выход уже не найти.

Душа-побирушка, бобылка-душа,
Всегда за тобой ни кола, ни гроша.

Но снова ты голубем рвёшься в полёт,
Где ангел невидимый в ризах поёт.

* * *

Звёзд горящий уголёк
Чертит путь ко мне.
Как безумный мотылёк,
Ты летишь на огонёк,
Что в моём окне.

Бьёшься слепо о каркас,
Что тепло дарит.
Слышу с неба Божий глас,
И не знаю, кто из нас
Раньше обгорит.

* * *

Не обида больно ранится,
Не болезнь терзает плоть –
С нежностью никак не справиться,
Жалость не перебороть.

Сестры единоутробные,
Одинаков ваш звонок.
"Дитяtko моё голодное..."
"Не ушибся ли, сынок?"

Страсть оставит равнодушною,
Речи, полные тоски,
Но не шея золотушная,
Не дырявые носки.

Вывернув всю подноготную,
Загрызут тебя, поверь,
Нежность – страшное животное,
Жалость – беспощадный зверь.

* * *

Детской слабостью твоей обезоружена,
Всё гадаю: кем ты будешь, кто ты есть
В этой жизни сумасшедшей, обездушенной,
Под названием "Палата № 6"?

Будешь к Бахусу кидаться за защитою
И судьбе своей препятствия чинить.
Будешь рёбрышки гитары пересчитывать,
Будешь перышки гусиные чинить.

Пусть бы музok легион на шею вешалось,
Пусть сердчишки разбивал бы им шутя, –
Что угодно, чем угодно пусть бы тешилось,
Только б лишь оно не плакало, дитя.

* * *

Ты ищешь работу охранника,
По строчкам глазами скользья.
Во мне беспокойство и паника:
Зачем тебе эта стезя?

Тебе бы в анналы готовиться,
Слагать за сонетом сонет.
Как там у Ирины Одоевцевой? –
"Ведь Вы не герой, а поэт."

Как эта материя грубая
Душе твоей не запаadlo –
То грязная робища грузчика,
То едкие газы котлов?

Охранники ходят с оружием.
Охранники могут убить.
А сердце поэта – что кружево,
Ему трепетать и любить.

Охранником быть упаси тебя!
"Чего учудила ты, чудь?"
Ты больше похож на хранителя,
Хотя и не ангел отнюдь.

* * *

Меж наших душ, их полярным сиянием
Не поскупился на расстояние
Бог, разведя далеко берега.
Что ж мне дорога твоя дорога?

Я отношусь к тебе вне этих бренокстей:
Всяческих нежностей, ревностей,
верностей.
Кроме души, ничего не ищу.
Птицу письма в небеса отпущу.

Вновь повторяю и устно, и письменно
Вечные, кем-то избитые истины.
Рвётся душа из графлёных тенет.
Я тебя слышу, а ты меня – нет.

* * *

Я опять пишу тебе в блокноте.
Не трудись, коль мне ответишь ты
Не на той же высшей пробы ноте
Подлинности, правды, чистоты.

Я пишу, рискуя и взыскуя,
Суррогат почуя за версту.
Не тебе я строки адресую –
Богу, чёрту, в прорву, в пустоту.

* * *

*Я пишу никому,
потому что сама я никто.
И. Лиснянская*

Пишу неизвестно зачем и кому,
Хоть адрес конкретный указан.
То, что просияло звездой сквозь тьму,
Зачем доверяю я фразам?

Звуча потаённо на все голоса,
Оно и без писем известно.
Как бабочки, ангелы и небеса –
Безадресно и повсеместно.

* * *

Гроздя грёз, словно майских гроз...
Не нуждается сердце в роздыхе.
Незадавшийся мой вопрос,
Словно радуга, виснет в воздухе.

Не понять мне никак умом,
Что искала в тебе упорно так?
Почему я к тебе письмом,
Как лицом на восход, повернута?

Но молчи. Какой с тебя спрос?
Мне дороже свобода вящая,
Никогда никакой вопрос
До ответа не доводящая.

* * *

Уравнения строк не сходились с небесным ответом.
Не давался мне синтаксис боли и логос тоски.
Ты приснился мне впрок в белом облаке лунного света,
И – где тонко, там рвётся – душа порвалась на куски.

Души белыми нитками шиты, причём наживую.
Их, до нитки обобранных, чуть прикрывают слова.
А любовь – живодёрня. Люблю – стало быть, освежую.
Губ закушенных кровью. И на плахе твоя голова.

Жизнь – ловушка. Ты ищешь лазейку, какой-нибудь дверцы,
Но заводит в тупик бесконечный её лабиринт.
В стенках клетки грудной детским мячиком мечется сердце,
И не знаешь, какой оно, глупое, выкинет финт.

* * *

Новое русло моей души.
Я от прежней себя в бегах.
Здесь в тиши поют камыши.
Так хорошо в его берегах.

Только серым крадётся волчком
Страх: дознаются, обвинят...
Как спартанец, живу молчком
С целым выводком лисенят.

* * *

Не судите то, что вам неведомо,
Не глядите грязными глазами.
Светлого, заветного, неспетого
Не отдам я вам на растерзанье.

Я сама в себе свой рай и ад несу,
Пламя, что без дыма не бывает.
Ваша брань настолько не по адресу,
Что меня ничуть не задевает.

* * *

Случайно подслушанный шёпот на плёнке, –
Как с раны запёкшейся сорвана плёнка.
С дымящейся раны звериной тоски
Слова отлетают, как мяса куски.

И тянет магнитом к дорожке магнитной,
Где грязь перемешана с чистой молитвой.
Ты это письмо не сочти за письмо, –
Оно не писалось – сказалось само.

Я слышу, как больно тебе и паршиво.
И, мышцы души напрягая, как жилы,
Ты падаешь, рвёшься, ты входишь в пике
И кляксы кровавые в черновике

Сажаешь, и шепчешь, и дышишь неровно,
Но чучело тела её хладнокровно.
Любовь не даётся нам в руки, увы!
Не передаётся путём половым.

Забудь этот номер пустой, морг-инальный,
Смирись, как со сценой спектакля финальной.
Бессмысленно плакать, молить, угрожать.
Её не оттаять и не отдышать.

Забудь всё, что жгло, озаряло, знобило.
Не любит она, никогда не любила!
Ты сердце своё, отпустив из тисков,
Разбил об неё на пятнадцать кусков.

Послушай, ты просто споткнулся о камень.
Такое с поэтами было веками.
Не мучай себя, не жалей ни о чём,
А время всегда было лучшим врачом.

И снова я в шёпоте том пропадаю,
Как Бродский, к отчизне глухой – припадаю
С не женской – другой, материнской тоской
К шершавой кассете горячей щекой.

* * *

Поменяла душевный покой
На чужую сердечную тайну...
Сколько лет ты мечтал о такой!
А другой её встретил случайно.

И никто не повинен в вине,
Только червь этот точит и точит.
Столько лет её видел во сне!
А другой её видеть не хочет.

Мир, погрязший в долгах и грехах,
Не исправить аккордом гитарным.
Ты талантлив в любви, как в стихах,
А она достаётся бездарным.

Как в той сказке, где был соловей
Настоящим и подлинной – роза,
Но принцесса шотландских кровей
Отвергала их, точно отбросы.

Не любимый в чести, а любой.
Вот и всё, чем эпоха богата.
Как всегда, нелюбима любовь,
Но зато нарасхват суррогаты.

* * *

Ещё твои молитву шепчут губы,
Но санки приросли к чужим саням.
Опомнись, Кай, она тебя погубит!
Ты мчишься в ночь, сомненья прочь гоня.

Нельзя направо и нельзя налево...
Похищенный, расхищенный дотла,
Ты спишь у ног ледащей королевы,
Не ощущая холода и зла.

Не видя, что кривое – зазеркалье,
С душой рабыни – эта госпожа,
Желающая, чтобы песни Кая
Служили ей сонатами пажа.

Забудешь ты и бабушку, и Герду
От поцелуя хладнокровных уст
И с корнем вырвешь из слепого сердца
Ненужной дружбы расцветавший куст.

Лоб запрокинут. Путь высокий, Млечный.
И снежных вихрей злая круговерть.
Пытаешься сложить ты слово "вечность",
Но вновь рука сама выводит: "смерть."

Ад в тереме, что высится, сверкая,
Счастливее ли рая в шалаше?
Осколки. Леденеет сердце Кая.
И Герде не спасти его уже.

* * *

Так беспоследственно и бесполезно
То, что в душе я ношу.
Блажью назвать это или болезнью?
Данью ли карандашу?

Скрыть – невозможно, сказать –
безнадёжно,
Молча потупить глаза.
Истину ты никогда не найдёшь, но
Знают её небеса.

Кровно, кроваво, нерасторжимо
Свяжут души миражи.
Что с этим в жизни делать, скажи мне?
Что с этим сделает жизнь?

* * *

Не малодушие-великодушие
Эти слова заставляет обрушивать.
Просто душа, что хранит на плаву,
И безвоздушность, в которой живу.

Мне не хватило какой-нибудь малости –
Чутьочку смелости, капельки жалости.
Я отступила, в себе унося
Острое лезвие слова "нельзя".

Всё разметало ветров дуновением,
Но и под слоём глухого забвения
Что-то живёт, не проходит, болит
И позабыть до конца не велит.

Я прислоняюсь к тебе, словно к дереву.
Пол не причём. Только сердце. Поверь ему.
Слов листопад, снегопад, звездопад.
Всё невпопад, невпопад, невпопад...

* * *

И некому послушать,
И не с кем говорить...
Кому скормить бы душу?
Кому себя сравить?

"Согреть другому ужин"...
А после ждать ножа?
Чужому ужин нужен,
А вовсе не душа.

Убережась от блажи,
Сбежит в свои края.
"На кой мне чёрт, – он скажет, –
Нужна душа твоя?"

И кличешь, как кликуша,
Того, кто скажет: "пить"...
Кому скормить бы душу?
Кому себя сравить?

* * *

Душа нежна, словно душка,
Тиха, как тихая сапа.
Ключу с неё, как с кормушки,
Сосу, как медведи лапу.

Душа всегда безответна,
Поскольку и ей ответа...
Но лучше на эту тему...
Давай помолчим про это.

* * *

Наверно, ослепил неон...
Мне показалось вдруг,
Что ты мне друг, а ты – не он.
Я обозналась, друг.

Не просыхаю от утрат.
Все в чёрном зеркала.
Ты мне не друг, ты мне не брат.
Такие, брат, дела.

* * *

Ты – то, с чем я справилась. Сердца бойня
Закончилась – скоро год.
От первой листвы ещё чуточку больно,
Но это пройдёт, пройдёт.

Июль целебной травой залечит,
Сентябрь зальёт дождём.
Зима похоронит, увековечив
Своим ледяным литьём.

Я сердцу скомандовала: "хватит!",
Стать смирным ему велев.
Теперь оно как оловянный солдатик,
Что утром нашли в золе.

* * *

Когда ты, яростно грассируя,
Рубил ладонью белый свет,
Стихами публику насилуя,
Я забывала, что поэт.

Хотелось нянчиться и пестовать,
Любуясь строчкою тугой.
Единственный из сонма пресного,
Мессия, баловень, изгой!

Судьба грозила строго пальчиком,
А я – да ну ее к шутам!
"В тебе божественного мальчика..."
Хотя причем здесь Мандельштам?

И морщились, пугаясь, девушки...
Чем глубже мрак – тем выше свет.
Не "одуванчик божий" – где уж там! –
А Божьей милостью поэт.

Застыв, неюная, немилая,
Глядела я из-под руки.
О как тогда тебя любила я,
Всему на свете вопреки!

Смеялась, ужасалась, грезила,
Лишь об одном молив: пиши!
Ты выкормышем стал поэзии,
Приемьшем моей души.

А вот теперь тебе с лимончиком
Спокойно наливаю чай.
С той частью жизни все покончено.
Вольноотпущенник, прощай!

* * *

Прощусь, как с душою тело.
И молча перекрещу.
А всё, что сказать хотела –
В стихи свои обрашу.

И брошу тот стих с карниза.
Узнай его в двойнике –
В том ангеле в светлых ризах,
Не понятном здесь никем.

Линда

Одинокая собака.
Потерялась? Бросили?
Глазки – словно два агата.
Шерстка цвета осени.

Дети выстроили домик –
Из картонки хижину.
Там ютится песий гномик,
Жалобный, обиженный.

Хвост в коллочках, лапки босы,
Вымокли на кончиках.
Ты моя теперь, не бойся.
Всё плохое кончилось.

* * *

Ваше востромордие,
Госпожа собака!
Для кого-то орды вас,
Для меня – одна ты.

Глазки словно вишенки,
Хвостик-молотилка.
Ох ты, моё лишенько,
Грязная подстилка.

Как бы ты ни гадила,
Что б ни натворила,
Дня нет, чтобы я тебя
Не боготворила.

Ваше хитромордие,
Маленькая скверность.
Ты достойна ордена
За любовь и верность.

Пусть отродье сучье ты,
Бестия-вострушка,
Для меня ты, в сущности, –
Лучшая подружка.

* * *

Чудный пес, собака, псище,
Лижет в нос меня, смеша.
Что верней, добрей и чище,
Чем собачая душа?

Как бы жизнь тебя ни была –
Пёс удержит на краю.
Никого так не любила,
Как собаченьку мою.

Две собаки

Навстречу – напугалась, – паки –
Нешуточные две собаки.

Одна – размером с крокодила –
Гляделась злобнее пасквилей.
По всем статьям превосходила
Она собаку Баскервилей.

Другая же, расслабив тело,
Глядела томно, как красавица,
Как будто бы сказать хотела:
"Вас это вовсе не кусается!"

* * *

У нас собака – больше, чем собака.
Она – мерило доброты и зла.
Её воспели Чехов и Булгаков.
О ней у нас рассказов без числа:

И Белый Бим, и Жучка в "Детстве Тёмы",
И бедная страдалица Муму...
Вернее друга где ещё найдем мы?
Кому мы доставляем больше мук?

Тот, с кем собака – вне душевной смуты.
Отныне есть кому его любить.
Однажды Бунин в горькую минуту
"Собаку хорошо б, – сказал, – купить."

У нас собака – больше, чем собака:
Метафора и жизни, и любви.
О сколько их у мусорного бака,
Покинутых бездушными людьми!

* * *

Иду, со сна полуслепа,
Выгуливать свою собаку.
Бежит собачья тропа
Средь лопухов и буераков.

Но Линда гордая моя
Дискриминации не знает.
На наши правила плюя,
Вновь на проспект перебегает.

Иду по-прежнему вперед,
Но мой пример ей не по нраву.
Она по улице идет,
А я – по кустикам и травам.

И, натываясь на бомжей,
Шарахаюсь и чертыхаюсь.
То там, то тут, гляжу, уже
Торчит компания лихая.

Куда тропа та заведет
Средь бездорожия и мрака?
И кто кого из нас ведет?
Кто человек и кто собака?..

В кафе "Манеж"

Задумав с мужем отдохнуть по-светски, –
Был летний вечер солнечен и свеж, –
Зашли мы с ним в кафешку на Немецкой
С двусмысленным названием "Манеж".

Застыли мы потом как истуканы,
Когда предъявлен был суровый счет,
Включивший вилки, блюдца и стаканы,
Столы и стулья, кажется, ещё.

А счет крутой за отбивную нашу –
Как будто бы из золота она –
Терпенья моего превысил чашу, –
В себе тогда была я не вольна.

Да лучше бы на кухне мы, ей-богу,
Домашнего вкушали пирога!
В кафе "Манеж" забыли мы дорогу,
Поскольку жизнь ещё нам дорога.

Клиентов здесь не холят и не нежат,
Улыбкою рублевой не дарят.
Обманут, обмишулят, обманежат,
А после вслед ещё обматерят.

* * *

Век не знать мне добра и удачи,
Коль забуду, когда между делом
Мы в то лето на дружеской даче
Отдыхали душою и телом.

Я бросаюсь, где знобко и глыбко,
В сердцевину зеркального полдня.
Я – твоя государыня-рыбка,
Чего хочешь проси – все исполню!

Что за радость – не купишь за деньги –
Не южанкой родиться – волжанкой!
Волга-Волга, ей-богу, как Стеньке,
Ничего для тебя мне не жалко!

Всё бросаю в твой омут весёлый –
Книжки, тряпки, квартиру, карьеру...
Остаюсь первобытной и голой,
Нашей жизни играя премьеру.

* * *

О Волга, ты – лекарство от истерик,
Где жизни бред, мучительный и странный,
Мне бережно залечивает берег,
Где волны мне зализывают раны.

Где парус мне белеет одинокий,
И век мне не бросается на плечи,
Где мир нам расстилается под ноги
Растительный, песочный, человеческий.

Где можно жить беспечно, не кручинясь,
Где мы с тобой вдаль от всякой швали.
А по песочку скачет птичка чибис –
Её мы почему-то так назвали.

* * *

Лишь вбежала в комнату – звонок.
Ты сказал: "Я здесь, на Первой Дачной.
Без тебя я очень одинок."
Я к тебе рванулась со всех ног,
Всю судьбу свою переинача.

Мы брели куда-то – лишь бы вон –
Из толпы, из горя, из разлуки.
В сумочке случайно диктофон
Записал сопутствующий фон –
Нашей встречи шорохи и звуки.

Только шелест листьев и шагов,
Только шум – и ничего иного...
Стала плёнка волею богов
Эхом сокровенных дневников,
Музыкой единственного слова.

* * *

Я мечтала о свадьбе, о снежной фате,
И заранее сшила наряд:
Белый шелк, соответствующий мечте,
И жемчужные бусинки в ряд.

А когда ты пришел, а когда ты пришел,
Налетел, подхватил, как тайфун,
Был уже ни к чему ослепительный шелк.
Ненадетый ни разу, нелеп и смешон,
До сих пор он вздыхает в шкафу.

* * *

Лица улиц, троллейбусов морды,
Тишина берегов одичалых,
Воронья оголтелые орды –
Всё вокруг это слово кричало.

Всё об этом – и солнце, и звёзды...
И казались вторичными речи.
Мы вдыхали ворованный воздух
Нашей тайной горячечной встречи.

Жизнь летела беспamięтно в осень,
Золотыми фонтанами била.
А слова не нужны были вовсе –
Всё за нас уже сказано было.

* * *

Схожу с ума, как снег в апреле,
Как сходит с курса иль с орбит
Корабль, как кожа с обгорелых
Ступней, когда земля горит.

Схожу, как сходит без рисовки
Загар с убитого лица,
Как – на конечной остановке
Пути без края и конца.

Схожу с ума. Он мне не нужен.
Он мне – как якорь кораблю.
Везувий вспыхнул. Ад разбужен.
Я без ума тебя люблю.

* * *

Я целую твою голову –
Хоть не надо б делать этого.
Я целую тебя голого,
В ласку рук моих одетого.

И не верится, не верится, –
Наконец с тобою вместе я.
Где-то там зловеще щерится
Неизбежное возмездие,

Чьи-то слезы и проклятия...
Что мне в них! На миг, на час ли я
Окунусь в твои объятия –
Но я счастлива, я счастлива...

* * *

Это яростная вспышка,
Это градус губ и щек,
Это нежное "глупышка",
Это грешное "еще",
Это то, что жжет и греет
Каждый раз, как никогда,
И уносит в эмпиреи
Без оглядки и стыда.

* * *

Наконец-то мы вместе. Окончилось бегство
От себя, от чужих и докучливых глаз.
Не от прошлого ты мне достался в наследство,
А оттуда, где Божеский слышится глас.

И открыто в обнимку с единственным другом
Я впервые свободу свою познаю.
Прижимаю к себе твою тёплую руку,
Как трофеем, завоеванный в трудном бою.

* * *

Люби меня, какую я бываю
В заветный час души и забвения,
Какую я сама себя не знаю,
Какую лишь с тобой бываю я.

Не всю меня, а лучшую частицу,
Во всей утонешь, сгинешь, пропадешь.
Люби такой, какой могла б присниться,
Какой нигде ты в мире не найдешь.

Не отдавай меня промозглой ночи,
Аптекам улиц, сглазу фонаря.
Люби меня всем сердцем, что есть мочи!
И ты поймешь, что ты любил не зря.

* * *

Уткнуться в теплое плечо,
Туда, где сходятся ключицы,
И знать: что б ни было ещё –
Со мной плохого не случится.

Давид, звезда моей любви,
Не половина – пуповина
Навек связала по крови.
Я заполняю сердцевину

Одним тобой, тобой, тобой,
А всё не доверху, не вдоволь.
Срослись и телом, и судьбой.
Бывают сладостней оковы ль?

Замри, фортуна, не спеши,
Приникни тихо к изголовью.
Давид, душа моей души,
Дыши, живи моей любовью.

Как в омут, броситься в кровать,
В родную ямку носом ткнуться
И – засыпать, и – забывать,
И – никогда бы не проснуться...

* * *

Мы как будто плывём и плывем по реке...
Сонно вод колыханье.
Так, рукою в руке и щекою к щеке,
И дыханье к дыханью

Мы плывем вдалеке от безумных вестей.
Наши сны – как новелла.
И качает, как двух беззащитных детей,
Нас кровать-каравелла.

А река далека, а река широка,
Сонно вод колыханье...
На соседней подушке родная щека
И родное дыханье.

Колыбельная

Этой песни колыбельной
Я не знаю слов.
Звон венчальный, стон метельный,
Лепет сладких снов,

Гул за стенкою ремонтный,
Тиканье в тиши, –
Всё сливается в дремотной
Музыке души.

Я прижму тебя, как сына,
Стану напевать.
Пусть плывет, как бригантина,
Старая кровать.

Пусть текут года, как реки,
Ровной чередой.
Спи, сомкнув устало веки,
Мальчик мой седой.

Пожелания

Ты рядом. Счастье налицо.
Я восклицаю, не лукавствуя:
"Да здравствует твоё лицо!"
(Хотя оно сейчас не здравствует.)

И, обихоженный с трудом,
Наш быт, что вот, даст Бог, наладится.
Да славится наш старый дом!
(Хоть он ничем таким не славится.)

Пойдем мы к лучшему врачу,
И всё залечится, упрочится.
Да будет так, как я хочу!
(В стихах сбываются пророчества.)

* * *

Проснулась: слава богу, сон!
Прильну к тебе, нырнув под мышку.
Укрой меня своим крылом,
Согрей скорей свою глупышку.

Мне снилось: буря, ночь в огне.
Бежала я, куда не зная.
Дерева рушились во мгле,
Всё под собою подминая.

Но тут меня рука твоя
К груди надёжно прижимала,
Разжав тиски небытия,
И вырывала из кошмара.

Благословенные часы.
Мы дремлем под крылом вселенной.
Мы дики, наги и босы,
Бессмертны в этой жизни тленной.

Дыханья наши в унисон.
Привычно родственны объятья.
Когда-нибудь, как сладкий сон,
Всё это буду вспоминать я.

* * *

А то, что было всё "по правде",
Всё, в чём душа была права,
Пускай хранят в моей тетради
Заговоренные слова.

Когда-нибудь ночной порою
Открою старую тетрадь,
Как будто из души отрою
Всё, что зарыто умирать.

Земля качнется, уплывая,
Как в тот негаданный визит...
И слов моих вода живая
Всё воскресит.

* * *

Я в глазах твоих укор читаю,
Будто я с тобой уже не та.
Жизнь бурлила, пенясь и блистая,
А теперь неброская, простая:
Лампа, кресло, тапочки, плита.

Говорят: привычка – неизбежность.
Чувства меркнут с возрастом. – Враньё!
У меня любви к тебе – безбрежность.
И чем больше вырастает нежность,
Тем труднее выразить её.

* * *

Вся суета, вся злость и грязь
Бессильно выпадет в осадок.
Очищенный от пут и дрязг,
Вкус жизни перевозданно сладок.

Как песня из небесных уст,
Нам эта мудрость вековая.
Вот ты. Вот я. Вот наш союз.
И просто жизнь как таковая.

* * *

Кого я выплесну нечаяно
С водою пенною стиха,
Чью ненароком выдам тайну,
Чей шкафчик отопру греха?

Как в титрах поясняют часто,
Отвечу я своей толпе:
"Все совпадения – случайны.
Я все писала о себе."

* * *

Запахи, звуки, шорохи, тени
Давних событий, прошлых волнений,
В памяти тая, как облака,
Нас окликают издалека.

Неуловимы и бессюжетны,
В хронике жизни всем не заметны,
Но в глубине сокровенно тая
Неизреченную суть бытия...

Наши земные очарованья,
Там, за размытой временем гранью,
На перепутье и на краю
Не покидайте душу мою!

Памятью детства, памятью крови
В час наш последний слетят к изголовью,
Став на мгновенья до боли ясны,
Запахи, звуки, тени и сны...

* * *

Вновь гадалки дотошные
Потрошат легковерных дебилов...
Отгадайте мне прошлое!
Объясните, зачем оно было.

Веет будущность холодом.
Мило то, что исчезло из виду.
Там наивная молодость,
Там родимые тени Аида.

Я взываю к незримому.
– Ну чего тебе надобно, старче?
– Возврати мне любимое!
Отвори этот сказочный ларчик!

В нем сокровища кроются,
Избавленье от боли и горя...
Но Сезам не откроется.
Брошен ключ на дно синего моря...

* * *

Я беру, как собака, след,
Пробираюсь к далекой Лете я.
Я ищу прошлогодний снег,
Свет ушедшего в ночь столетия.

Вижу вещей сон наяву,
Словно Пруст, неразлучна с комнатой.
Я который уж год живу
С головою, назад повернутой.

* * *

Мне прошлое дышит в затылок,
А я обернулась – и вот
На долгие годы застыла.
Не я, а оно лишь живет.

Скорее очнуться, проснуться...
Но смерч настигает, грозя.
Нельзя мне к нему обернуться.
И не обернуться нельзя.

* * *

Что живо в тебе закипанием крови
И нежностью памяти – живо и впрямь.
Пусть хмурит суровой действительность брови –
Полет в никуда неуклонен и прям.

Взываю не к людям, не к ветреной Музе –
К тому, что кричит из-под мраморных плит.
Защитная сила бессмертных иллюзий
Мне душу, как ангел небесный, хранит.

Все жду, что наступит он, миг обретенья,
И видится в снах, как при ясности дня:
Родные, любимые, мертвые тени,
От радости плача, встречают меня.

* * *

На клеёнке блик играет,
Щеки жаром обдаёт.
Это свечка догорает,
А не солнышко встаёт.

Стук в окошко поминутный.
Сердце, стихни, наконец!
Это ветер бесприютный,
А не умерший отец.

Кто так, воя и стеная,
Сводит медленно с ума?
Это вьюга ледяная,
А не смерть ещё сама.

* * *

В альбоме старом дремлет времечко,
Где каждым мигом дорожу.
Ещё я маленькая девочка
И за руку тебя держу.

Дрожу над этой фотографией,
Где я ещё пока твоя
И где на фоне печки кафельной –
Вся наша целая семья.

И в доме мирный был уклад ещё,
Ещё ветров не пел хорал,
И незнакомо было кладбище:
Никто ещё не умирал.

Сны

"Жизнь – обман с чарующей тоскою."
Не обманывают только сны.
Там свобода воли и покоя –
То, чего мы в жизни лишены.

Как они порой бывают жалки –
Наши сны, где мы живем, греша,
Как в том фильме по Стругацким, "Сталкер":
Каждый видит то, чего душа

В тайне от самой себя хотела,
То, с чем оборвалась в мире связь,
И к чему стремилась оголтело,
Своих мыслей подлинных стыдясь.

Нищий видит хлеба караван,
Жадный – кучи долларов в мешках,
Графоману – слава мировая
В сны приходит с дудочкой в руках.

Сны – моя дымящаяся совесть,
Моя плаха, исповедь и рок.
Долгой жизни горестная повесть,
Что читаю, не смывая строк.

Вижу тех, кого не долубила,
Не наговорила до конца,
Лица мертвых, мучающих, милых –
Вижу брата, бабушку, отца.

* * *

Какое странное посланье...
Скользят туманные слова
И уплывают в мирозданье,
Блеснув прозрением едва.

Глухие завеси сомкнулись.
Строка размыта, неясна.
Мы вновь с тобою разминулись
В дремучих коридорах сна.

Тот шифр моею кровью набран,
Но тщетно силюсь до конца
Я разгадать абракадабру –
Посланье мертвого отца.

Мне не прочесть, и не ответить,
И не дожидаться ничего,
И снова биться рыбой в нетях
В тисках сегодня своего.

* * *

Я видела ад. Это мир без любви,
Что длится, сердца не затронув.
Там нету различия между людьми.
Обличье у них эмбрионов.

Пространство стерильной пустой тишины.
Души перманентное тленье.
Там мучает боль безысходной вины,
Не ведающей избавленья.

Там вечно живыми пребудут враги
И трупом – казавшийся другом.
И меркнут Вергилия с Дантом круги
Пред этим замкнувшимся кругом.

Там холод могильности слова "живу"
И смерть без минуты покоя.
Я видела ад, не во сне – наяву.
Я знаю, что это такое.

* * *

На удочку – ах! – уличного сходства
Попалась, уличив себя в тоске.
И жизни поступь, прерывая ход свой,
Споткнулась, как о камень на песке.

И сердце кровоточило и билось,
Как пойманная рыба из тенет.
Душа моя, тоска моя забыла,
Что уж давно тебя со мною нет.

* * *

Вас жизнь разметала, смела, растоптала.
О, что с вами было? И что с вами стало?!
Один – всем ненужный – в холодной земле,
Другая – в недужной прижизненной мгле.

Я руки к их лицам с тоской простираю.
На зыбкой границе меж адом и раем
Должна быть хоть щелочка, крохотный лаз –
Пробиться, вернуться, увидеть хоть раз...

Она – на садовой скамейке над книжкой.
Он сзади маячит безусым парнишкой.
О, старые фото... Не жизни – огня
Мне жаль, уходящего в ночь без меня.

Я память и душу огнем обжигаю,
Я встретится вам в облаках помогаю.
Когда-то жила на планете семья:
Вы оба и бабушка, брат мой и я.

Не раз вспоминали, наверно, друг друга...
Следы замечает январская вьюга.
О как ваши жизни легко было смять!
Родные, чужие... Отец мой и мать.

* * *

Нет очевидцев той меня,
И, значит, не было на свете
В ночи сгоревшего огня,
Что плачет, уходя навеки.

И, значит, не было в миру
Той девочки босой, румяной,
Гонявшей обруч по двору,
Рыдавшей над письмом Татьяны.

Ни старой печки, ни плетня,
Ни сказочной дремучей чащи,
Раз нет свидетелей меня
Тогдашней, прежней, настоящей.

Цепь предков, за руки держась,
Уходит в темный студень ночи.
Времён распавшаяся связь
Отъединённость мне пророчит.

Протаиваю толщу льда
И жадно собираю крохи:
Мгновенья, месяцы, года,
Десятилетия, эпохи...

Законам физики сродни
Тот, что открылся мне, как ларчик:
Чем дальше прошлого огни –
Тем приближённое и ярче.

Любовь, босая сирота,
Блуждает во вселенной зыбкой.
В углах обугленного рта
Застыла вечная улыбка.

Она бредет во мраке дней,
Дрожа от холода и глады.
Подайте милостью ей.
Она и крохам будет рада.

* * *

Спешу я к родной могилке
Исхоженною тропой.
Тринадцатая развилка
От будки сторожевой.

Кладбищенская ограда –
Награда за все в тиши.
Ты – нищенская отрада,
Отрава моей души.

Не кладбище, а кладби'ще.
Размеренные ряды.
Пристанище и жилище,
Убежище от беды.

Очищу литьё от сажи,
Надгробие приберу.
Как будто лицо поглажу
И лоб тебе оботру.

И мертвецу надо ласки,
Как дереву и птенцу.
Анютины светят глазки.
Они тебе так к лицу.

А небо с чутьём вселенским
Заплакало вдруг навзрыд
Над кладбищем Воскресенским,
Где брат мой родной зарыт.

Письмо отцу

Ветер или ты листы колышешь?
Пробирает медленная дрожь.
Почему-то знаю, что услышишь.
Как-нибудь по-своему прочтешь.

Нет тебя давно у нас в квартире.
Где же в этом мире ты теперь?
Каждый вторник, как пробьёт четыре,
По привычке я смотрю на дверь.

Как наш Денди прыгал, обезумев,
В нетерпенье сверток теребя!
Ты ещё не знаешь: Дендик умер.
Ровно через год после тебя.

Стало страшно выходить из комнат, –
Вдруг споткнусь внезапно при ходьбе:
Кто-то обязательно напомним
Мне тебя на улице в толпе.

Твои книжки выстроились ровно,
Говорят со мной наперебой.
Детские стишки мои, любовно
Все переплетенные тобой.

Письма, и статьи твои, и речи –

Не волнуйся, всё сохранено.
Я лишь в ожиданье нашей встречи
Поняла, что мы с тобой – одно.

Ты приснишься мне на день рождения?
В небе ковш изогнут, как вопрос.
И твоё реальное виденье
Проступает сквозь завесу слез.

Из кривых и прыгающих строчек
Словно перекидывая мост,
Вижу твой замысловатый росчерк,
Вижу руку с родинками звезд.

О тебе узнаю всё из сна я.
Как тебе в обители иной?
Я тебя ничуть не вспоминаю.
Просто ты по-прежнему со мной.

* * *

Я хотела бы на кладбище еврейском
Успокоиться среди оград и трав.
Вот на этом облюбованном отрезке.
Только нету у меня на это прав.

Ни Ваганьково, ни даже Сан-Микеле
Не прельщают дерзновенную мечту.
Я хотела бы на этом, в самом деле,
Что от дома за какую-то версту.

Пусть бы люди проходили только мимо,
Пусть бы имя позабыли все давно.
Я хотела бы лежать среди любимых.
Почему-то это мне не все равно.

Боже, как бы я хотела в эту землю!
Вижу Парку, обрывающую нить.
Если я ещё немножечко промедлю –
Будет некому меня похоронить.

Не считите за дурную юмореску,
Не кривляясь говорю и не кичась:
"Боже, сделай, чтоб лежала на еврейском.
Если можно, то, пожалуйста, сейчас."

* * *

За окошком ветра вой.
Мне опять не спится.
Бьётся в стекла головой
Вяз-самоубийца.

Капли падают в тиши,
Разлетясь на части.
Но не так, как от души
Бьют стекло на счастье.

Струи поднебесных вод –
Острые, как спицы.
Сам себя пустил в расход
Дождь-самоубийца.

Как струна, натянут нерв.
Лунный диск нецелен.
Обоюдоострый серп
На меня нацелен.

* * *

Дни холодной и короче.
Лето подводит черту.
Вкус недописанной строчки –
Горькой травинкой во рту.

Ах, на пороге ненастья
Не расплескать бы, спеша,
Пену шампанского счастья,
Что пригубила душа.

Листопад

Посланцем неба или ада
Из неизведанной дали
Он падал, падал, падал,
В объятия грешные земли.

И по ветру пускал конвертцы,
Чтобы оставить где-то след,
И плавно опускался в сердце
Осадком отшумевших лет.

А листья – будущая падаль –
Летели чисто и светло.
Им было падать, низко падать
Не больно и не запаadlo.

* * *

Стара для жизни, молода для смерти,
Стою у ресторана бытия.
Между людской и звёздной круговертью
Лежит дорога узкая моя.

Стара для счастья, молода для горя.
Дух или тело первыми избыть?
Уйти, чтобы остаться, песне вторя?
Или остаться, чтоб уже не быть?

Жизнь то хрипит, заглохшая под пылью,
То бьётся, словно жилка на виске.
Так и живу – меж нежитью и быльёю,
На грани, на краю, на волоске.

* * *

Нет уж тепла в помине.
Листья шуршат, шуршат...
Словно угли в камине –
Жизнь мою ворошат.

Все оставляет след свой
В памяти о былом.
Кажется, моё детство
Где-то за тем углом...

Листья летят устало.
Долго ли им кружить?
Сколько уж их упало...
Листья устали жить.

* * *

Я продлевала вечера,
Не выпускав из рук.
Сегодня – всё ещё вчера.
Держусь за этот звук.

Вчера – ещё почти в руках,
Оно со мной срослось.
Ещё в пространстве и в веках
Худого не стряслось.

Повремени, чужой рассвет,
Несущий тень беды.
Сияй, сияй вечерний свет
Негаснущей звезды.

* * *

Увядая, облетая,
Листьев кружится метель.
Золотая, золотая,
Золотая канитель.

Я нисколько не тоскую,
Не устану я смотреть
На красивую такую
Листьев золотую смерть.

Осени конец летальный...
Как бы, прежде чем умру –
Научиться этой тайне
Красной смерти на миру.

* * *

Как завести мне свой волчок,
Чтоб он жужжал и жил,
Когда б уже застыл зрачок
И кровь ушла из жил?

Как превзойти в звучанье нот
Себя саму суметь,
Когда окончится завод
И обыграет смерть?

Как скорость наивысших сфер
Задать своей юле,
Чтобы хоть две минуты сверх
Крутиться на земле?

* * *

*Я пишу никуда, потому что сама я нигде.
И. Лиснянская*

Чья вина или Божья немилость
В том, что место моё так убого,
Что под солнцем не уместилось?
Где родилась – не пригодилась.
Числюсь разве что в списках у Бога.

Может, время такое крутое –
Не пробьёт его голос мой тонкий.
Я живу без минуты простоя.
Почему же нигде и никто я –
В этом пусть разберутся потомки.

Четверостишия

* * *

Когда надо мною отдернулся занавес,
Явив всему свету судьбы моей малость –
На этой земле все места были заняты,
И мне только небо одно оставалось.

* * *

Вся жизнь моя – это письмо,
Длиною в её дорогу.
Кому-то, себе самой,
А в сущности – Богу.

* * *

Обогащаюсь – и нищаю, –
Шагреновый закон ума.
Чем больше мир в себя вмещаю,
Тем меньше делаюсь сама.

* * *

Слова, которых я не написала –
Перетекают в звезды за окном.
Как ночь в невыразимости блистала!
Как сладко с нею думать об одном.

* * *

Как сорными лопухами,
Которых никто не ждет,
Могила моя стихами
Бесхозными зарастет.

* * *

Бог у поэтов ходит в суфлерах.
Что ни поэт – продавец плагиата.
Я не участвую в этих аферах:
В том, что пишу – лишь сама виновата.

* * *

Писать, чтобы душой – чиста,
Писать – как головой с моста,
За ради чистого листа –
Как ради истины Христа.

* * *

Тех сестер разлучила суровая жизнь.
Веру мудрость София сомненьями гложет.
А Надежда на цыпочках тянется ввысь
И никак до Любви дотянуться не может.

* * *

Отрада моя и растрava.
Я вся – лишь любви оправа.
Растрескавшаяся рама,
Где вместо картины – рана.

* * *

Вдыхаю, вглядываясь в черты:
И я была хороша...
От всей когдатoшной красоты
Осталась одна душа.

* * *

Не прихорашивается для встречи
Любовь. Речей её просторечье
Не выдает в ней ума колосса.
Стоит босa и простоволосa.

* * *

Жизнь смешала были, небыли –
И слила в одну посуду.
То, чего со мною не было –
Никогда не позабуду.

* * *

Дар ли се небес?
Иль попутал бес?
Невозможность с,
Невозможность без.

* * *

Ты не яблоко, ты облако,
Тень приснившегося облика,
Что лелею, точно детище.
Мальчик. Брат. Поэт. Поэтище.

* * *

Незакормленный, незалюбленный,
Но не сломленный и не купленный.
Голова в дыму пьяно свесится,
А душа сквозь тьму так и светится.

* * *

Как ничтожен зазор меж любовью,
Её счастьем и горькой бедой.
Это всё лишь одно троесловье,
Что нельзя разделить запятой.

* * *

Солнцу – не грей, огню – не гори,
Ветру – не вей, морю – замри,
Сердцу – не бейся. Отбой.
Вот что творю я с собой.

* * *

Когда я ухожу из человека,
Мне кажется, он быть перестает.
На том же самом месте встанет вежа,
Том самом жесте...словно птица – влёт.

* * *

У меня собачья тоска,
Что не знает, куда излиться.
У людей звериный оскал.
У собак человечесьи лица.

* * *

Я прихожу в отчаянье, как в дом –
Конечное пристанище юдоли.
Теперь я различаю их с трудом.
Очаг домашний очагом стал боли.

* * *

Как волны, беды прибывают.
Один белеет только парус.
У счастья паузы бывают.
У горя не бывает пауз.

* * *

Чем, какую уловкой
Нам выжить совместно –
Чечевичной похлебкой
Или манной небесной?

* * *

Когда экзамен жизни жалкой
Тебе держать уж силы нет –
Швыряет смерть свою шпаргалку,
Даря спасительный ответ.

* * *

Что там, в этой мертвой остуди –
Божья милость или месть?
Ненавижу тебя, Господи,
Так, как будто бы Ты есть.

* * *

Опять не сплю. Не сон, а сплин.
А сплю – плохое видится.
Жизнь комом, словно первый блин.
Второй же не предвидится.

* * *

Когда опять удушьем занедужишь,
И станет жизнь до мертвого тиха –
Спаси свою безжизненную душу
Искусственным дыханием стиха.

* * *

Поэзия – чудо звука и чувства,
И чудо того чуть-чуть,
Без коего в этом слепом искусстве
Немыслим к вершинам путь.

* * *

Велик зазор меж словом – делом,
Меж тем, что мысль, и тем, что знак.
И то, что я сказать хотела,
Вы понимаете не так.

* * *

Жить бы весело и смело,
Жизни на пределе.
Чтоб не жизнь тебя имела –
Мы б её имели.

* * *

В реанимации, в рай не доехав,
Очнувшись, спросила: "Пойман бен Ладен?"
Так вот и надо жить, кроме смеха.
Полною грудью дышать на ладан.

* * *

О Матерь Божья, уйми нас, –
Рассвет уже настает...
Когда-то любовь мне снилась.
Теперь – заснуть не дает.

* * *

Снова надежда безумная гложет,
Опровергая мудрый закон.
Ставлю на чудо, как ставят на лошадь.
Все, что имею, ставлю на кон.

* * *

Ты не верь мне, когда мелю во хмелю
И обрезками ласки не брезгую.
"Да не сбудется то, о чём я молю," –
Есть такая молитва еврейская.

* * *

День прожит, проскользнул, как вор,
Украл, чем быть могла богата.
И вечер пишет приговор
Кровавым почерком заката.

* * *

Как бы жизнь ни гнула долго нас –
Её стержень прям и прост.
Там, где согнута – я солгана.
Выпрямляюсь в полный рост.

* * *

Сладка надежда, скепсис кисл...
Извечным мучаюсь вопросом.
Всего превыше высший смысл.
А здоровый – остаётся с носом.

* * *

К тебе летит мой каждый час и сон.
Мы переходим плавно в сны друг друга.
Наш общий сон нас держит, невесом,
С надёжностью спасательного круга.

* * *

"Постарею, побелею..."
Заболею, околею.
Вешние воды, темные аллеи...
Ни о чем не жалею.

Двустихия

* * *

Мелочь дождика, серебро и медь
Учат жизнь ценить, быть, а не иметь.

* * *

Бессмысленна весна и дождик слеп.
И мой порыв наивен и нелеп.

* * *

Кто мы, что мы в этой жизни тленной?
Малые подобия вселенной.

* * *

Умереть, пока ещё не поздно,
Чтобы на земле не быть нам розно.

* * *

Колышется на холмике трава.
Прости за то, что я ещё жива.

Федерико

Поэма

1

В одном затерянном селенье,
Меж диких гор, бегущих вдаль,
Где кипарисы зеленели,
Лимоны зрели, цвёл миндаль,

Однажды огласился криком
Край неописанной красы:
Родился мальчик, Федерико,
Испании великий сын.

*"Всё ожило припевами припевов.
Всё так едино, памятно и дико.
И на границе тростника и ночи
Так странно, что зовусь я Федерико."*

Ну, детство мы его опустим.
Минуло два десятка лет.
Нет большей радости и грусти,
Чем быть поэтом на земле.

В нём клочкотал огонь эмоций,
Он скорым был на смех и плач.
Был легкомысленным, как Моцарт,
Как Пушкин, светел и горяч.

Душа томилась тайным криком,
Сгорала, обращалась в дым...
Луна, невеста Федерико,
Дразнила телом золотым.

Ампаро, в белое одета,
Манила призраком любви.
Зелёного, как зелень, цвета,
Любовь росла в его крови.

Как он хотел, чтоб узнавали,
На крыльях радости летя.
Как он любил, чтоб баловали, —
До ласки жадное дитя.

И обижался так по-детски:
– Уеду! – губы надувал, –
Раз вы не любите. – И где-то
Скрывался, в щёлку наблюдал,

Как брат с сестрой по всем просёлкам
Гонялись в панике за ним,
И возвращался он, весёлый,
Счастливый, что ещё любим.

А как-то раз его спросили:
"Зачем ты пишешь по ночам?"
"Хочу, чтобы меня любили!" –
На это Лорка отвечал.

Был голос Музы слишком тонок,
А мир бездушен и жесток.
Поэт – обиженный ребёнок –
В нём беззащитен, как цветок.

2

Он каждой клеткой, каждым нервом
Был с теми, чья стезя нища.
Цыган, евреев, мавров, негров
Всегда он первым защищал.

Он с теми был, кто в мире сиры,
И обвинял предавших их,
Всех тех, кто половину мира
Из мира вычеркнул живых.

Хотя Дали смеялся горько,
Твердя, что им не по пути,
И что "аполитичней Лорки
На всей планете не найти."

Да, Федерико "коммунякой"
Назвать нельзя. Он не таков.
Он был за бедных, но не всяких.
Он был за "добрых бедняков."

Чтобы нацистом не считаться,
Готов, превыше ставя честь,
Всегда "хорошего китайца
Испанцу злему" предпочесть.

В те годы – в песне ли, в газете
Открыто высказаны вне –
Слова и мысли были эти
Самоубийственны вполне.

Он жил, сердца врачуя, грея,
Но закалялся дух и нрав.
"Я никогда не постарею", –
Писал. И оказался прав.

3

Боялся он "дурацкой славы":
Чуть прогремит твоё перо,
И журналисты вмиг облаву
Устроят на твоё нутро.

Запачкав пошлыми речами, –
Писал, – нахлынут из дверей
"и раскроют мне грудь лучами
Своих карманных фонарей."

*"Я хочу, чтоб воды не размыли тины.
Я хочу, чтоб ветер не обрёл долины.
Чтобы слепли ночи и прозреть не смели,
Чтоб не знало сердце золотого хмеля..."*

И Муза путь свой орбитальный
Вершила прямо к небесам.
"Мы только тайной живы, тайной..."
Он под рисунком подписал.

Но над художником не властны
Обеты. То, что ранит, жжёт –
Вливает в жилы яд опасный,
И тайна жизнь не сбережет.

*"Потёмки моей души
Отступают перед зарёю азбук,
Перед туманом книг
И сказанных слов.
Потёмки моей души..."*

Сказать себе: "Молчи, не надо"?
Зарос травой давний след.
У каждого свой шкафчик ада,
В шкафу запрятанный скелет.

Но снова, сердце укрощая,
Тону в дремучей той глуши,
Себе дорогу освещая
Потёмками его души.

*"У ночи четыре луны,
А дерево – только одно.
Как бабочка, сердце иглой
К памяти пригвождено."*

Он, как никто, открыл в искусстве
Любви глубинный водоём:
Сонеты горечи, предчувствий
И одиночества вдвоём.

А сердце, стиснуто печалью,
Взлетало, падало, как лифт,
И с общепринятой моралью
Вступало в затяжной конфликт.

Его любовь темна, бесправна,
Преступна и обречена.
Мы вправе знать о ней всю правду,
Какой бы ни была она.

Смертельное ружейной дробью,
Острее лезвия ножей,
Она должна святош коробить
И в ужас приводить ханжей.

*"Тухлый снег над жаркими крылами,
Вскипая, словно пена, по озёрам,
Жемчужно стынет инистым узором
В саду, где наши губы отпылали..."*

Он жил, от суетного света
Скрывая битву душ и тел.
И только в "Сумрачных сонетах"
Сказал он больше, чем хотел.

*"Я слежу, как бьётся ночь полуживая,
Раненой гадюкой полдень обвивая.
Зелен яд заката, но я выпью зелье.
Я пройду сквозь арки, где года истлели.
Дай тоской забыться на планете дальней,
Но не помнить кожи холодок
миндальный..."*

И шёл в душе когтей и лилий,
Звериных смут и неги бой.
И письма бред не утолили,
Не тронули своей мольбой.

"Ах, ты не знаешь, – и не надо, –
Какая боль и маета
Глядеть с балкона на Гранаду
И знать, что вся она пуста,

И думать до изнеможенья, –
Ни в чём, нигде, на всём веку
Тебе не будет утешенья..."
Доверимся его стиху:

*"Любовь моя, люби! Да не развяжешь
Вовек ты жгучий узел этой жажды
Под ветхим солнцем в небе опустелом!
А всё, в чём ты любви моей откажешь,
Присвоит смерть, которая однажды
Сочтётся с содрогающимся телом. "*

Он мог быть нежен или бешен
До самообнаженья в плоть,
Но был воистину безгрешен,
Как птица, конь, земная плоть.

Любовью это иль дуэлью
Назвать, чернила то иль кровь,
Но, корчась раненой газелью,
Он выстрадал свою любовь.

На этом свете всё не внове.
Всё поглотила злая тьма.
Оборваны на полуслове
Любовь, строка и жизнь сама.

4

Цыгане... Как любил их Лорка!
Они – начало всех начал.
Мотив Григорьева и Блока
В стихах испанских зазвучал.

Хранители огня и веры,
Изгои древние страны. . .
Его "Цыганским романсеро"
Все были вмиг покорены.

*"О звонкий цыганский город!
Ты флагами весь украшен.
Желтеют луна и тыква,
Вскипает настой черешен.
Забывать ли тебя, мой город?
В тоске о морской прохладе
Ты спишь, разметав по камню
Не знавшие гребня пряди..."*

Дух вольницы несли цыгане,
Мятежны в чувствах и страстях.
Но коваными сапогами
Растоптан был свободы стяг.

*"Застигнутый криком флюгер
Забился, слетая с петель.
Зарубленный свистом сабель,
Упал под копыта ветер.*

*У белых врат Вифлеемских
Цыгане ищут защиты.
В слезах и ранах Иосиф
Поник у тела убитой.*

*И снова скачут жандармы,
Кострами ночь засевая.
И бьётся в пламени сказка,
Прекрасная и нагая."*

Как взбешены были жандармы!
Они порядок в мир несут!
На плод ума и сердца жара
Гвардейцы подавали в суд.

О, то фантазия, ну что вы!
Метафора, мечтанья, сны...
Но вот июнь тридцать шестого.
И поступь тяжкая войны.

Поэт не видит, но провидит.
Сбылись пророчества из сна.
Он близорук и безобиден,
Но даль веков ему ясна.

*"Рекою душа играла
Под синей ночью кровлей.
А время на циферблатах
Уже истекало кровью."*

5

Фашисты ворвались в Гранаду,
И чёрные настали дни.
Как крикнуть хочется: "Не надо!
Помилуй, Бог, повремени. . ."

Друзья уехать призывали.
Он улыбался им в ответ:
"Поэтов же не убивают.
Ведь я не воин, а поэт."

"Поэтов ведь не убивают"...
О благовест наивных слов!
Они с поэтов начинают!
(Васильев, Клюев, Гумилёв...)

Как много было версий всяких
"Случайной" гибели певца.
Тогда фашистские писаки
Их выдвигали без конца.

Несчастный случай, пуля-дура

Настигла где-то на пути,
Завистник от литературы
Любви народа не простил,

Убили нищие крестьяне
(месть за отца: "богач – батрак").
Страна погрязла в том обмане.
Но это было всё не так.

Он был убит в глухом овраге.
И вся в крови была заря.
Ему сказали: едут в лагерь.
Его убили втихаря.

Кто дал команду на аферу,
Какая мразь могла посметь?!
...И улыбался он шофёру,
Который вёз его на смерть.

*"Я прошу всего только руку,
Если можно, раненую руку.
Я прошу всего только руку,
Пусть не знать мне ни сна, ни могилы,*

*Я прошу одну только руку,
Что меня обмоет и обрядит.
Я прошу одну эту руку,
Белое крыло моей смерти."*

Как он просил всего лишь руку
В последний час на склоне дня...
Но в ту предсмертную разлуку
Над ним глумилась солдатня.

И вытворяли с ним такое, –
Лютей нет зверя, что двуног, –
Что даже Кафка, даже Гойя
В горячке б выдумать не смог.

*"Если умру я – не закрывайте балкона.
Дети едят апельсины.
(Я это вижу с балкона.)
Жнецы сжинают пшеницу.
(Я это слышу с балкона.)"*

Он был расстрелян на рассвете.
Звериный победил закон.
Не ели апельсины дети
И не был приоткрыт балкон.

В него стреляли многократно,

И вся в крови была трава.
Запомнят палачи злорадно:
"Большая слишком голова."

И что им было, клике дикой,
Что до того в экстазе зла,
Что в этой голове великой
Вся Андалузия жила?

И крика эллипсом насквозь
Пронзило чёрное безмолвье...
Гранада! Получила кость?!
Теперь дыши его любовью.

*"Прощаюсь у края дороги.
Угадывая родное,
Спешил я на плач далёкий,
А плакали надо мною.*

*Иною, нездешней дорогой
Уйду с перепутья
Будить невесёлую память
О чёрной минуте."*

6

Вы никогда б не догадались,
Кто Лорку выдал палачам.
Иудой был Луис Розалес,
Кто о любви к нему кричал.

Когда-то ученик поэта,
Он жил в одной квартире с ним.
Потом издаст его сонеты
Уже под именем своим.

Но жители, в сие не веря,
Крестились, и в глазах был страх...
Иуда он или Сальери –
Да будет проклят его прах.

*"Когда умру, схороните меня с гитарой
В речном песке.
Когда умру...
В апельсиновой роце старой,*

*В любом цветке.
Когда умру,
Стану флюгером я на крыше,
На ветру.
Тише...
Когда умру!"*

Он схоронить просил с гитарой.
Никто его не хоронил.
Лишь строки этой песни старой
Бродяга-ветер раззвонил:

*"Если умру я, мама,
Будут ли знать про это?
Синие телеграммы
Ты разошли по свету!"*

Игра теней, свеченье бликов,
Серебряная филигрань...
Гранада! Лорка! Федерико!
Ты улетел туда, за грань

Добра и зла, земли и неба,
За зоревые рубежи,
Но где б ты ни был, где б ты ни был,
В душе планеты будешь жить.

О, не забвенья, а бессмертье
Позорный тот расстрел принёс.
Теперь здесь, в гор глухом предсердье,
Источник бьёт фонтаном слез.

Ручей журчит, как будто криком
Кричит, и плачет, и поёт
О чистом сердце Федерико,
Подстреленном, как птица, влёт.

Монолог Людмилы Дербиной, невенчанной жены Николая Рубцова

Исповедь

Ну почему он умер, почему?! –
Твердить я буду до скончанья века.
Я до сих пор не верю, не пойму:
Неужто я убила человека?

Уставясь взглядом в чёрный потолок,
Мучительно ворочаюсь на нарах.
Судьбы моей ужасный эпилог
Проходит пред глазами, точно кара.

...На голове – берет, и брючки клёш.
Пальтишко на нём ветхое болталось.
В толпе такого встретишь и пройдёшь,
Я и за мужика-то не считала.

Следы попок на лице всегда,
И шарф накручен на цыплячьей шее.
За этот шарф-то я его тогда...
Свежа та рана. С каждым днём свежее...

Не крестишься, пока не грянет гром.
Теперь его стихи читаю, плача:
"За всё добро расплатимся добром"...
Но в жизни получилось всё иначе.

Мы сели на скамейку где-то в сквере.
Он стал читать стихи, и почему –
Не знаю, но, стихам его поверя,
Я в тот же миг поверила ему.

Такая мощь звучала в тех стихах!
И всадник, на холмах своей Отчизны,
И родина, которая тиха, –
Всё это и моею стало жизнью.

Мне Николай без боя сдался в плен.
Он от любви весь пожелтел и высох.
Я – смуглолица, с ядрами колен,
Рыжеволоса... Вся – как зов, как вызов.

Не знают ни враги и ни друзья,
Каким он был... Каким ни с кем он не был.
А как его оплакиваю я –
Об этом знаю только я да небо.

...Характер у него – не сахар был.
Ох, сколько от него терпела зла я!
Любить – любил. Но беспрестанно пил.
Устала я от пьянства Николая.

Он стал стихи мои критиковать,
Выискивать ошибки в каждом слогое.
Двум соловьям на ветке не петь,
Медведям двум не жить в одной берлоге.

Он жил собой, не думая о нас.
Ругалась мать: "Когда займётся делом?"
Я заглянула в бездну его глаз
И ужаснулась, и оцепенела.

Там всё сгорело в пламени огня.
Предчувствием и болью сердце сжалось.
Я в тех глазах не видела меня.
Там лишь одна бутылка отражалась.

Он весь был – к людям обращённый зов.
Они ж его услышать не хотели.
Тогда Рубцов срывался с тормозов,
И только пух и перья прочь летели.

Никто его не в силах был унять.
Шли в дело сковородки, чашки, блюда...
Кидал в меня – что только мог поднять,
Я еле успевала увернуться.

И я не уступала ни на шаг –
Всё вспыльчивость, гордыня, нетерпимость!
И вся в крови, в грязи была душа...
О Господи, спаси и укрепи нас...

Он ревновал к столбу меня любому,
Приревновал к любимому коту
И в пьяном гневe вышвырнул из дома...
Порой казалось мне, что я в аду.

Вконец измучив ревностью слепой,
Он на меня бросался с кулаками,
И я вздымала руки над судьбой,
Я вся была – что та коса на камень.

Последний год сумятиц и невзгод.
Рубцов с утра не просыхал от пьяни.
Как следует отметив Новый год,
Был развязать уже не в состоянии.

Я вспоминаю эту ночь теперь,
И не одну, а две бессонных ночи!
Он на меня кидался, точно зверь,
А я сопротивлялась что есть мочи.

Как будто бес тогда вселился в нас,
Мы в ярости катались по паркету.
Вдруг со стены упал иконостас...
Я вздрогнула – то страшная примета.

Он, кажется, зарезаться хотел.
Мы бросились отчаянно друг к другу,
И – вновь клубок катающихся тел...
Чтоб вырвать нож, впились зубами в руку.

Мы оба были словно во хмелю,
Запутываясь в собственные сети.
Рубцов кричал мне: "Я тебя люблю!"
От крика пробудились все соседи.

Любовь его – погибель для меня.
Как вытерпеть, когда ломают душу?
Я видела, что это – западня.
И знала я, что я её разрушу.

Крещенские тогда стояли дни...
Теперь тот стих – навеки мне укором.
Я сорвала замки у западни,
Смела её затворы и запоры.

О, сколько бы ни минуло времён –
Мне никогда не быть собой прощённой...
Но каждый раб к свободе устремлён.
Я не хотела быть порабощённой.

И я рванула шарфик за концы
И сонную артерию сдавила.
И вот убила... Он отдал концы.
Но видит Бог, что я его любила!

Как это всё случилось – не пойму.
В глазах лицо – белее, чем бумага...
Ну почему он умер, почему?!
Худой петух! Ледаший, доходяга!

Опомнилась. Потом весь этот бред –
В милиции, каким-то рожам сытым...
Потом был суд. Мне дали восемь лет.
Набор последней книжки был рассыпан.

И после всех страданий и потерь,
После всего, что жизнь мою разбило,
Одно лишь имя у меня теперь:
"А это та, которая убила..."

Слова проклятий, словно камни вслед,
И липкий деготь клеветы печатной.
Но есть суды страшнее на земле:
Суд памяти и сердца беспощадный.

Как будто надо мною вечный рок.
Не минет чаша, хоть иною стань я...
Тюремный срок – тяжёлый был урок.
Но самым мне тяжёлым испытаньем

Окошко было камеры моей,
Что выходило на окно Рубцова.
О, пытки не придумаешь сильнее! –
И каждый вечер я смотрела снова

На то окно, где были мы – одно,
Пока не разлучила злая сила,
На то окно, где нет его давно,
Окно, в котором жизнь я погасила...

Всей жизнью я отмаливала грех.
Три года простояла на коленях.
Я поняла, что был он лучше всех,
Как этот снег, как этот свет весенний...

Всё кажется, он там, на берегу,
Появится откуда-то оттуда.
Я по воде навстречу побегу...
Как хочется мне верить в это чудо.

...А в Тотье Коле памятник давно.
Весь бронзовый, его узнала еле.
Обули в туфли модные – смешно!
Пальто ему изящное надели.

Не столько людям, сколь самой себе,
Я написала книгу о Рубцове.
О нашей неудавшейся судьбе,
Короткой и трагической любви.

А в день рожденья он приснился мне.
Так хорошо приснился, просветлённо...
Мне показалось, это он в окне
Тихонько машет веточкой зелёной.

Пусть в землю жизнь вколачивает злей, –
Я знаю, отворится в небо дверца.
И светит мне вдали звезда полей,
Звезда его единственного сердца.

Новеллы

"Было по правде" – этой смешной детской фразочкой предваряла свои рассказы моя соседка, маленькая Олеся. Я бы тоже могла сделать её своим подзаголовком. Всё, что я пишу – было в действительности. Я не признаю никаких псевдонимов, прототипов, лирических героев. В этих новеллах – голая правда, жизнь как таковая и я – какая есть.

Детство моё, постой...

Была такая песенка:

Детство моё, постой,
Не спеши, погоди.
Дай мне ответ простой,
Что там, впереди.

Что там впереди – мне уже более-менее ясно. Всё чаще спрашиваешь себя – а что позади? Хочется сохранить, собрать по крупицам всё, что осталось, спасти от всепоглощающей пасти забвения и небытия. И я вспоминаю, вспоминаю...

Я спешу перед тобою
Исповедать жизнь мою,
Чтоб не умертвить с собою
Всё, что в жизни я люблю, –

как писал Лермонтов.

Воспоминания прошлого обычно идут не последовательно, не целостно, а как бы набегают друг на друга волнами, наплывают, как во сне. "По волнам моей памяти..." То из этой волны сверкнут тебе давно забытые глаза, то облако на весеннем небе, то какие-то запахи детства, то чей-то до боли знакомый голос. Эти мелочи, осколки нашего бытия ведут нас к тем минутам, к тем местам, где мы любили, плакали, смеялись, страдали – где мы жили.

Очевидцев, свидетелей моего детства почти не осталось. Дом, где я родилась, давно снесён. Он стоял на улице Горького, между Пушкинской и Сакко и Ванцетти, рядом с угловым овощным магазином, напротив бывшей школы №3, где я училась. Это была коммуналка на 20 семей, где мы вчетвером (мама, отец, брат и я) занимали одну комнатуху. Жила я там до шести лет, поэтому помню её смутно. Помню белую кафельную печку-голландку, к которой так хорошо и уютно было прижаться. Старый классический венский стул с выгнутой спинкой – тогда только такие, кажется, и были. Из всех семей помню хорошо только одну женщину, которая часто плакала в коридоре за дверью своей комнаты, отвернувшись лицом к стене. Что-то у них там происходило с мужем – какие-то ссоры, драмы, она выбегала в слезах, а спрятаться было некуда, кругом люди, и она безмолвно и беззащитно плакала у всех на виду. Я была совсем маленькой, но эту униженность и безвыходность её состояния ощутила тогда всей кожей, всей своей будущей женской сущностью. Она плакала почти каждый день, и

соседи обходили её молча, как зачумлённую. Кажется, её звали Клава.

Там же, в этой коммуналке, жила тогда Наташа Медведева. (Сама я этого не помню, рассказываю со слов мамы.) Она была старше меня на десять лет. Фамилия её матери была Цвиткис, отца не было, во всяком случае, с ними он не жил. Мать Наташи была учительницей музыки, она и её пыталась обучать игре на фоно, чему та сопротивлялась со страшной силой. Мать её била, крик стоял на весь дом. Отношения Наташи с матерью позже вконец разладились, и она прибилась к соседской семье Тараховских: трём сестрам – старым девам, интеллигентным еврейкам, прекрасно образованным, великолепно знающим литературу, поэзию, обладателям богатой библиотеки. Они привязались к Наташе, она им стала как дочь. У них она и росла. И похоронена была потом в их общей могиле. (Я пишу все эти сведения, касающиеся, в общем-то, не меня, только потому, что считаю Наташу Медведеву большим поэтом, и мне кажется, что всё, так или иначе связанное с её жизнью, должно остаться.) Сестёр Тараховских, заменивших Наташе родителей, я не помню, помню лишь их брата, Евсея Григорьевича, который всегда ездил на велосипеде, хотя казался мне ужасно старым для этого.

В этой коммуналке я жила только два года – с четырёх до шести лет, а до этого воспитывалась у бабушки (маминой мамы) на Ульяновской. У неё там была комнатка в старом доме – метров 6, куда вмещалась только кровать, на которой мы с ней обе спали, стул и комод. Потом, в классе седьмом, я снова переселилась туда на время, пока мама "устраивала свою личную жизнь" – уже после развода с отцом. На этой бабушкиной кровати проходила вся моя жизнь: я там спала, ела, читала, писала стихи, учила уроки. В детстве со мной никто никогда не сидел, бабушка уходила на базар, в гости, всюду, куда ей было надо, посадив меня на эту кровать, где я тихонько сидела, занимаясь своими игрушками. Эта самостоятельность или, вернее, некая автономность, ненуждаемость ни в ком проявились у меня ещё в грудном возрасте. Мама рассказывала, что когда она брала меня на руки укачивать, я начинала кряхтеть, трепыхаться, всячески выражая своё недовольство. Она, не понимая, чего мне, собственно, нужно, в сердцах бросила на кровать. И я замолчала, успокоившись. Взяла на руки – та же история. Так я приучила её с детства оставлять меня в покое. Я лежала в своей колыбельке, никому не мешала и не терпела никакого вмешательства в мою личную младенческую жизнь.

Помню, у нас в семье была такая игра: перед сном, уже лёжа в постелях, мы по очереди загадывали какой-нибудь

предмет в комнате, называя первую букву этого слова. А остальные пытались его угадать. Однажды я загадала предмет на букву "ч". Мама, отец, брат перебрали всё и, отчаявшись, сдались. Тогда я торжествующе выпалила: "телевизор!" Правда, "телевизора" у нас тогда ещё не было, он появился позже. Смотреть "кино" мы отправлялись по выходным на Ульяновскую, к дяде. В той же бабушкиной квартире в соседних двух комнатах жила семья её сына: он с женой, две дочки-двойняшки, мои ровесницы, и сын Валера, ровесник моего старшего брата Лёвы. Телевизор был маленький, с линзой, но тогда других и не знали.

С сестрами мы росли вместе: бегали зимой на каток в Детском парке, катались с горок во дворе, летом лазали в сад за соседскими вишнями. Мне скучны были наши обычные дворовые игры, и я изобретала новые. Однажды придумала игру "в смерть". На бумажках писались разные виды смерти, преимущественно экзотические: "умрёшь от укуса змеи", "погибнешь в войну", "убьёт молния" и т.д. Бумажки перетасовывались, и каждый из шапки вытягивал "свою смерть". Это щекотало нервы. Помню, как Валерка вытянул однажды бумажку со словом "расстреляют", и как мы все тогда смеялись. Недавно я вспомнила об этом, и меня буквально бросило в дрожь. Это невероятно, но то дурацкое предсказание сбылось. Валерка был расстрелян в подъезде своего дома в Москве летом 1998 года. Он только что заступил на должность замдиректора аэропорта "Шереметьево", но не пробыл на ней и месяца. Отказавшись кому-то подписать какие-то бумаги, он поплатился жизнью.

Из своего детства в коммуналке я помню такой эпизод. Однажды я подралась во дворе с одной девочкой – мы не поделили какой-то красивый камешек, который нашли одновременно. Нас, ревущих, с расквашенными носами, растащили в разные стороны. Я была вне себя от горя и гнева: камень отстался у моей противницы. Когда же нас отпустили, мы снова бросились друг к другу: я – с воздетыми кулаками, а она – с протянутой ручкой, в которой лежал этот камешек. Она хотела отдать мне его. А я не заметила этой доверчиво протянутой руки и по инерции ударила девочку. И в тот же момент увидела её разжатую ладонь. И глаза, в которых застыли недоумение и обида. Мне стало нестерпимо стыдно. Я машинально схватила камень, бросилась домой и долго плакала там, уткнувшись в подушку. Меня мучили раскаяние, угрызения совести – чувства, которым я тогда ещё не знала названий. На другой день я решила вернуть камень девочке, но во дворе она больше не появлялась. Потом я узнала, что они переехали. Позже, когда прочла у Лермонтова: "и кто-то камень положил в его протянутую

руку", испытала чувство потрясения и стыда. Хотя я его тогда не положила, а взяла из протянутой руки, но по сути ведь сделала то же самое. Меня эта история долго мучила. А лет через семь к нам в класс привели новенькую, и я сразу узнала в ней эту девочку. Её звали Люда Орешникова. На перемене я подошла к ней и напомнила о том случае. Мне хотелось – пусть запоздало – как-то загладить свою вину. Но она ничего этого не помнила и только посмеялась.

Когда мне исполнилось шесть лет, мы переехали на новую квартиру на Рабочей (между Горького и Вольской). Сейчас этот дом тоже снесён. Это был старый особняк с верандой и палисадником, в котором мы повесили гамак. За этот гамак, в котором я любила возлежать с книжкой, ребятня во дворе меня невзлюбила и окрестила "буржуйкой". Только одна была у меня там верная подруга – Ленка. За измену своему "клану" её бомбили снежками, когда она бежала ко мне в гости, несколько раз даже ловили и засовывали снег за шиворот, но она всё равно была мне верна. Помню, как возмущалась, передавая услышанные о нас сплетни: "Они говорят, что у твоей мамы было три мужа! А я им говорю: ничего подобного, только два! Ведь правда же, всего только два?" Я озадаченно молчала. Насчёт "второго мужа" мне было ничего не известно, не говоря уже о третьем. Они появятся только много лет спустя.

Запомнился на всю жизнь день первого отправления в школу. Это был драматический день, имевший для нашей семьи далеко идущие последствия. Нарядная, в белом фартуке, с новеньким портфелем, с огромным бантом и ещё более огромным букетом я стояла у порога дома, напутствуемая с двух сторон родителями и соседями, как правильно переходить улицу. На пути к школе мне надо было трижды перейти дорогу. Провожать меня было некому, все работали, я должна была этот крестный путь проделать одна. Меня чуть ли не в сотый раз экзаменовали на этот предмет, и я в сотый раз отвечала, что пойду только на зелёный свет, что сначала посмотрю налево, потом, дойдя до середины дороги, – направо... Может быть, именно оттого, что я столько раз это твердила и обещала, во мне подспудно зрел какой-то смутный неосознанный протест, как всегда против всякой обязаловки. И вот настал этот час икс. Весь двор вышел смотреть, как я буду пересекать магистраль. Я чинно стояла у бордюра. Из-за угла появилась машина. Я терпеливо ждала. Мама и соседи переглядывались и удовлетворённо кивали головами: "умница". Машина приближалась. Я подпустила её почти вплотную и тут – сама не знаю, что на меня нашло – ринулась вперёд. Я проскочила, успела за какую-то секунду до столкновения. Но какой ценой! Сосед Айзик Маркович – у

него было большое сердце – упал в обморок. Меня со скандалом вернули обратно. У мамы была истерика. Напившись валерьянки, она стала звонить на работу, отпрашиваясь. В школу меня повели под конвоем, держа крепко за руку слева и справа. И в тот же день родители стали искать варианты обмена на нашу квартиру в доме рядом со школой. Нашли гораздо худшую, с меньшей площадью, но зато срочно и без перехода улицы. Вот так плачевно закончился мой "переход через Альпы."

Новая квартира была в большом сером доме на углу Советской и Горького. Нашим соседом был директор авиационного завода (его уже давно нет в живых), его жена домохозяйка и две дочери – Фира и Таня (сейчас они все в Израиле). Тане было 17, мне семь. Я влюблялась во всех её женихов, что было предметом безудержного веселья всей квартиры. Однажды к ней пришёл одноклассник Юня (настоящее имя Юра, но его так все звали из-за кукольной внешности: розовые щёки, пухлые губы бантиком). Он принёс Тане букет цветов. Дверь ему открыла я. Тани не было дома, она уехала на дачу. Он смутился, отдал мне этот букет – не нести же обратно – и ушёл. А я возомнила, что эти цветы – мне, и влюбилась без памяти в этого пухлого кукольного Юню. Когда он приходил, я краснела до кончиков волос, убежала, забивалась куда-нибудь в угол. "О, куда мне бежать от шагов моего божества!" Все хохотали, отпускали шуточки, дразнили ни в чём не повинного Юню.

Потом у Тани появился жених с женским именем Юля. Он ходил к ней "с серьёзными намереньями". Таня терпеть его не могла. Она надолго оставляла его одного в комнате, а сама уходила в кухню и ждала там, пока он догадается уйти. При этом она вслух саркастически комментировала его внешность, манеру говорить и какого-то не того цвета носки. Я влюбилась и в этого несчастного нелюбимого Юлю. Иногда меня звали в их компанию "больших", чтобы я почитала им Есенина, которого знала наизусть. И смеялись, когда я трагическим тоном, со слезой в голосе декламировала: "Мы все в эти годы любили, но мало любили нас..."

Однажды на каком-то многолюдном семейном празднике отец встал за столом и вместо тоста прочитал своё стихотворение. Оно начиналось так:

Вам, дорогая, нежных слов не надо.
Как шубу старую, надежду сгложет моль.
Не опечалит Вас и не подарит радость
Моё последнее и первое письмо.

Дальше не помню. Это было первое и последнее

стихотворение отца, которое я от него слышала. Кому оно было посвящено? Писал ли он другие стихи, кроме этого? Я уже никогда этого не узнаю.

И ещё помню, как отец пел песню про метелицу: "Ты стой, стой, красавица моя, дай мне взглядеться, радость, на тебя." Он пел это, обращаясь ко мне, якобы я и есть та самая красавица. Мне это ужасно нравилось. Когда он доходил до этих слов, я нарочно поворачивалась спиной и делала вид, что хочу уйти, а он простирал ко мне руки, будто пытаюсь удержать: "Ты стой, стой..." И все вокруг смеялись.

Иногда вечером мы ходили всей семьёй в подвальчик на улице Горького есть мороженое. Сейчас там салон штор "Декор", до него был ресторан "Русские узоры", а в то время его называли просто "подвальчик". Помню, когда мы пошли туда в первый раз, все принарядились, и я тоже решила надеть всё лучшее. Самым красивым и праздничным нарядом мне казалась "снежинка" из марли, в которой я выступала на ёлке. Я надела её к ужасу родителей, и никакие уговоры и увещевания не могли заставить меня заменить её на какое-нибудь банальное человеческое платье. Мало того, я, под влиянием прочитанной недавно пушкинской "Сказки о царе Салтане" и поразившей меня там строчки про царевну-лебедь: "а во лбу звезда горит", вырезала такую звезду из фольги и прилепила на лоб. Так и пошла со своими расстроенными родителями, не знавшими, куда девать глаза от стыда за мой экстравагантный вид. Но зато самой себе я казалась в тот вечер настоящей царевной-лебедью, принцессой из сказки.

Эта "снежинка" мне так нравилась, вернее, я сама себе в ней, что я стала появляться в ней перед каждым гостем в доме и изображать балерину: то "умирающего лебедя", то одного из "маленьких лебедей". Сохранились фотографии, где я в этой марлевой пачке лежу на ковре в мёртвой позе с томно закатынными глазами. Но вид портили чёрные трусы, которые предательски выглядывали из-под белоснежного оперения. В сердцах я отрезала на фотографии эти трусы, но вместе с ними отрезались и ноги, а умирающий лебедь без ног – это все-таки что-то не то.

Мама решила отдать меня в балет. Я прошла конкурс, меня приняли. Преподаватели хвалили "высокий подъём" моей ноги, – я тогда не понимала, что это такое. На первое занятие всем велели прийти в белых купальниках (имелись в виду гимнастические купальники или за неимением его – белая маечка, зашита между ног) с синими поясками. Я перепутала цвета и сказала маме, что нужно прийти в синем купальнике с белым поясом. Мама поняла слово "купальник"

буквально и дала мне свой пляжный из сжатой ткани с чашечками для бюста, который на мне выглядел весьма комично. Преподаватели были поражены таким нарядом – здесь такого ещё не выдвали – и сделали мне выговор. Девчонки смеялись, тыкали в меня пальцем. "Ладно-ладно, – думала я мстительно, – вот сейчас начнут танцевать умирающего лебедя, и я им покажу, я так станцую, что им всем тошно станет от зависти..." Но к моему великому разочарованию никаких танцев не предвиделось, а вместо этого с нами стали разучивать разные "позиции": пятки, носочки, вперёд-назад, вместе-врозь и тому подобную чушь. Балет нравился мне всё меньше и меньше. "Зачем мне все это? – думала я высокомерно. – Я и так лучше всех танцую."

Потом все стали перекидываться мячиком, а я задумалась о своих будущих лаврах и не поймала его, мяч угодил мне в лицо. Я обиделась, расплакалась и убежала. Дома сказала, что больше туда не пойду. Так бесславно завершилась моя балетная карьера.

Недавно я узнала от Давида одно еврейское слово: "шлимазл" – оно как раз для обозначения таких, как я. Одним словом, "пока не требует поэта..."

В 15 лет я отдыхала с подругой в её родной деревне "Салтыковке". Когда мы были на огороде и что-то там делали, дядя Воля, у которого мы жили, внимательно за нами наблюдавший, сказал своей жене: "Ольге можно жить в сельской местности, Наташке – нет." "Почему?" – удивилась я.

– Ты...не советская ты какая-то.

Эту свою "несоветскость", т.е. инакость, "шлимазлость" я не раз потом ощутила в жизни. На уроках не слушала, писала стихи. Мне это казалось важнее. Вместо уравнений выводила в тетради:

Набираю в ручку
Синие чернила.
Где ты, самый лучший?
Где ты, самый милый?

"Самый лучший" явился в 9 классе в облике студента-практиканта, преподававшего у нас физику. Его звали Владимир Витальевич. Вот когда я пожалела о том, что не училась! Я ничего не понимала в физике, ничего не понимала в том, что он объяснял. Я слушала его речь как музыку, как песни Джо Дассена на французском языке. Зачем-то записалась в физический кружок, который он вёл, куда ходили победители олимпиад и те, кто отличились в этом предмете. Ходила туда дура-дурой. А он смотрел на меня и тоже ничего не понимал. Даже спросил у кого-то из девчонок,

чего я здесь делаю – в его кружке.

Однажды я его увидела на улице. Он меня не видел, он шёл впереди меня. Была зима, шёл снег, мела метель. Я пошла за ним следом. Мы шли, и шли, и шли...(Недавно соседская школьница Олеся принесла мне проверить своё сочинение на тему "Как я провёл выходной день". Она описывала там день, проведённый в лесу. Полстраницы занимало одно слово: "Мы шли, и шли, и шли, и шли..."."Разве так можно писать? –" укорила я её. Она искренне удивилась: "Но мы действительно так долго шли." Так вот мы тоже с ним "всё шли, и шли, и шли...")

Путь шёл всё время по прямой, вверх по Горького. Тьма постепенно сгущалась, зажигались фонари, метель пуржила, заметая наши следы в этом мире. Я шла не с ним, а всего лишь за ним, но для меня и это было много. В голове нелепо звучали строчки: "в алом венчике из роз впереди – Иисус Христос..." Его стремительная фигура в лёгком развевающемся пальто, запорошенная снегом ушанка, неумолимо удаляющиеся от меня шаги, и весь он – такой непостижимый, недоступный, недостижимый, как его физика, как его язык уравнений, законов и формул, который я не знала. Я говорила с ним мысленно на своём языке, языке поэзии, который он в свою очередь не понимал. Мы говорили, вернее, молчали на разных языках. Я шла за ним неведомо куда в серебристом свете фонарей, и во мне что-то умирало, как в том бессмертном умирающем лебедь, и светилось, как звезда во лбу пушкинской царевны. И невдомёк ему было, что он уводил меня из моего детства.

Деревья

*Деревья! К вам иду!
Спаستись от рёва рыночного!
М. Цветаева*

1. Дерево первой любви

Мне запомнился один эпизод из фильма С. Соловьёва "Спасатель". Девочка была на школьной практике в деревне. Как-то их всех застала в поле гроза. Они добежали до ближайшего леса и спрятались под деревьями. Девочка стояла под деревом, под которым оказался и её школьный учитель. Он читал ей стихи под раскаты грома. Даже не ей, так, вообще. Она стояла по другую сторону дерева и слышала только его голос. Это было так прекрасно: гроза, алые всполохи в небе, шумящее дерево, укрывшее их от дождя, и стихи. А потом её мучили сны. Она всё время видела во сне это дерево, дождь, голос.

Девочка вышла замуж. Но сны не прекращались. И то

прекрасное, трепетное, что было в них, оказалось так несовместимо с её семейной жизнью, что она решила расстаться с мужем. Он стал допытываться, в чём причина. Она рассказала: гроза, шумящее дерево, голос, читавший стихи.

– И это всё?! – облегчённо вздохнул муж.

– Но это очень много... – обречённо ответила она.

Да, это очень много. В конце концов это перевесило её жизнь.

У меня тоже было своё дерево. И даже не одно. Только это было совсем по-другому. Но так же неосознанно, неназванно, вслепую, наощупь... Мне тогда было десять лет. (Как Лермонтову, когда он впервые влюбился.) Соседи взяли меня с собой на дачу. Дача была в лесу, на 11-ой Дачной. Поначалу я чувствовала себя там тоскливо, заброшенно. Я впервые была так далеко от дома, скучала по своему двору, плакала по ночам и даже написала маме слёзное письмо в духе Ваньки Жукова: "забери меня отсюда". Но пока письмо шло, я познакомилась с детьми из соседних дач и повеселела. Соседкой слева была девочка Таня, моя ровесница, а соседом справа – мальчик Саша, чуть постарше. Он был, как мне сейчас помнится, толстый и в очках. Но мне сразу запали в душу его тихий проникновенный голос, мягкие вкрадчивые манеры, словом, интеллигентность. Тогда я не знала ещё этого слова, только почувствовала в нём какой-то иной микромир, другую породу. Ни в классе, ни во дворе у нас таких серьёзных, умных мальчиков не было.

Со мной стало твориться что-то непонятное. Мне вдруг всё здесь стало нравиться: дача, лес, люди, земля, небо. Целый день я носилась, как угорелая, придумывая всякие игры, забавы, состязания. Мне хотелось быстрее всех бегать, сильнее всех раскачиваться на качелях, обыгрывать всех в настольный теннис, находить в лесу самые сногшибательные грибы и самые диковинные цветы. Мне хотелось совершить что-нибудь такое, чтобы он отличил меня из всех, восхитился, возрадовался мне, сделать что-нибудь во имя его, вернее, во имя того, что так бурлило и клокотало внутри, требуя выхода. Моя подруга тоже хотела понравиться мальчику. Она кокетничала с ним, надевала нарядные платица, завязывала бантики, чтобы обратить на себя внимание, словом, вела себя, как нормальная будущая женщина. Я же, как всегда, пошла своим путём.

Моё сердце жаждало подвига, жертвы, чего-то, брошенного к его ногам. Неподалёку от нашей дачи стояло дерево – очень высокое, раскидистое, сукастое. Я стала потихоньку рано поутру, когда все ещё спали, тренироваться залазить на него, с каждым днём всё выше и выше. Постепенно я изучила все его выступы, все ветки, куда

можно поставить ногу, разучила это дерево, как стихотворение. И вот однажды, когда мой избранник о чём-то мило беседовал с моей соперницей, я издала воинственный клич и с криком: "Смотрите же!" – молниеносно взлетела на это дерево, по-обезьяньи вскарабкавшись на самую его вершину в мгновение ока. Я взяла штурмом эту высоту, как, вероятно, подсознательно надеялась взять штурмом и душу Саши. Где-то далеко внизу маячили их маленькие фигурки. Я видела изумлённо-восхищённые глаза моего рыцаря (вернее, рыцарем в данном случае была я, а он как бы исполнял роль дамы сердца), видела разинутый рот остолбеневшей Таньки, бежавших со всех сторон ко мне людей. И упивалась своим торжеством, своим звёздным часом.

Насладившись всеобщим смятением и охами соседей, я спустилась на землю, так же быстро и ловко.

– Ну как? – спросила я Сашу.

– А ты здорово умеешь лазать по деревьям, – с уважением сказал он. Вот, собственно, всё, чего я добилась. Но этот комплимент прозвучал для меня, как райская музыка, как гром небесный. Он мне тяжело достался, он был честно заслужен, этот комплимент, и потому дорогого стоил.

Танька поманила меня пальцем что-то сказать по секрету. Я подошла и снисходительно наклонила ухо к её губам, ожидая услышать нечто подобное, но она конфузливо зашептала: "Ты соображаешь, что делаешь? У тебя же снизу все трусы видно!" Я озадаченно уставилась на неё. Такой ракурс восприятия моего подвига мне не приходил в голову. Но этот досадный штрих не смог омрачить моей триумфальной радости. Всё так славно удавалось в те дни, мне было так весело, так интересно, так увлекательно жить. В лесу мы встретили заблудившуюся собачку. Я назвала её Малыш, и он всюду бегал за мной. Это была первая собака в моей жизни.

Я не помню, стали ли наши отношения с Сашей качественно иными после того поступка, кажется, нет, он по-прежнему больше времени проводил с Таней, но вот странно, меня это нисколько тогда не удручало. Я никак это всё не осознавала, не определяла для себя словесно, я жила бездумно, беспечно, свободная, счастливая, согреваемая тем огнём, что пылал у меня внутри. А самыми счастливыми мгновениями были – я их помню отчётливо – это были ранние утренние часы, часов в пять-шесть, когда я просыпалась с чувством беспричинной, восторженной, душившей меня радости. Много лет спустя я прочитала у какого-то поэта строки: "просыпаться на рассвете оттого, что радость душист..." И сразу вспомнила те предрассветные пробуждения.

А потом приехал брат и сказал, что мама получила моё письмо и прислала его за мной. Я не нашлась, что возразить – да, писала, да, просила забрать. Нас ждала машина. А дома... Что на меня нашло! Я плакала несколько дней подряд, без перерыва на сон и еду. Домашние даже испугались за меня. Я, чтобы объяснить свои слёзы – а я сама не понимала толком, почему плачу, – сказала, что там осталась моя собака Малыш. Левка съездил и привез Малыша. Но я продолжала плакать и при Малыше. Я ничего не понимала в самой себе. А потом мне долго снились сны с тем неописуемым ощущением необъяснимого, невероятного счастья. Снилось то дерево. А сам Саша почему-то не снился.

2. Невостребованный подарок

В жизни Цветаевой деревья всегда были много больше, чем просто деревья. "Дерева вещая весть!", "Но если по дороге куст...", "Что нужно кусту от меня?", "Потому что лес – моя колыбель и могила – лес..." Подруга Цветаевой Т. Кванина рассказывала, как однажды – это было в 1940-м – Марина повела её через какие-то проходные дворы и закоулки, потом остановилась под тополем и сказала: "Ну вот. Здесь!"

Был вечер. Горел уличный фонарь, светила луна, и листья от освещения были серебряными. От небольшого ветерка всё это вздрагивало, переливалось, блестело. Это было прекрасно! "Ну вот", – опять повторила Марина Ивановна. В голосе её было удовлетворение: она сделала царский подарок.

Я вспомнила об этом подарке, когда гуляла с Линдой до 1 Дачной и обратно. Не доходя до аптеки, мы сворачивали направо, где проходит улица Лесная, вернее, крохотный её проулок – метров 100, который обрывается крутым спуском на проезжую часть, а дальше отделен от продолжения улицы всякими трубами и строительными заграждениями. В этом уютном тупичке мы часто с Линдой гуляем. Он очень красив даже днем: по левую руку высотный дом, вдоль которого тесно растут прелестные березки с разветвленными тоненькими стволами и такими кудрявыми кронами, что я всякий раз вспоминаю берёзки Есенина, похожие на девушек. На середине переулочка взору открывается простоволосая красавица ива, полощущая своими длинными рукавами ветвей по земле. ("Простоволосые мои, мои трепещущие...") Потом цветаевская рябина. А дальше начинается настоящее чудо. Но это чудо можно наблюдать лишь вечером, когда зажгутся фонари. Над тополем в самом конце этой аллейки висится фонарь. Я не знаю, в чём тут секрет – в необычной

ли окраске серебристого тополя или в освещении фонаря, но когда вступаешь в это световое пространство, ты как будто попадаешь в волшебное царство, в какую-то гофмановскую сказку. Игра света и тени на листьях, таинственные отблески на асфальте. Ты невольно замедляешь шаг, останавливаешься. Любуешься, запрокинув голову. "Таинственна ли жизнь ещё? Таинственна ещё..." (Кушнер). "Дайте тайну, хотя бы одну... Тайну худенькую, босую..." – зывал Евтушенко. Вот она, моя тайна, моя сказка, неожиданная радость сердца. Видит ли ещё кто-нибудь это чудо, замечает ли? В этом тупичке редко бывают люди, разве что божь какой-нибудь забредёт справиться нужду, укрывшись за деревьями, да озабоченная мамаша завернёт с детской коляской. Но вряд ли они догадываются поднять глаза к этому фонарю. Меня распирало чувство единоличной владелицы царского состояния, хотелось поделиться с кем-то этим роскошным подарком судьбы и природы. Я вглядывалась в лица прохожих, перебирала в мыслях имена знакомых. "Кому? Кому повем печаль свою?" Печаль – ладно, но кому повем свою радость? Кто способен её оценить, воспринять, вратить в свою душу?

Поздно вечером, задёргивая шторы в спальне, я вдруг увидела в окне этот венценосный тополь в бронзовом ореоле нависшего над ним фонаря. Он был довольно далеко от нас, но множество маленьких деревянных домишек не могли его загородить собой, и светящееся дерево возвышалось вдали, ещё более прекрасное и загадочное, чем вблизи. Я пыталась проникнуть в секрет этого волшебства и, кажется, поняла. Фонарь был неисправен: он не то что бы мигал, но, то, прижмурившись, приглушал освещение, то вдруг неожиданно вспыхивал, рассыпая снопы брызжущих искр цвета червонного золота, и в этот момент просто захватывало дух от неправдоподобной сказочной красоты.

– Давид, – тормошила я мужа, – смотри скорей, какое чудо, вставай же, погляди на это волшебное дерево! ("Соня! Ну как можно спать!" – поймала я себя на знакомой интонации.) Давид не поддавался.

– Ну почему я должен вставать? – отбивался он. – Я так удобно лёг, там холодно. Потом, завтра, утром...

– Завтра утром не будет этого фонаря, этого чудного света. И потом, кто знает, что с нами будет завтра...

Так этот подарок и остался никому не подаренным, никем не востребованным. "На кой мне черт душа твоя". А в результате и своя тоже. Эту строчку Лермонтова я бы поставила эпиграфом ко всему нашему времени.

Призраки былого города

(ностальгические заметки)

"Есть три эпохи у воспоминаний", – писала Ахматова в "Северных элегиях". Так вот я уже у истоков третьей, последней, когда –

...нет уже свидетелей событий,
И не с кем плакать, не с кем вспоминать.
И медленно от нас уходят тени,
Которых мы уже не призываем.
...бежим туда, но (как во сне бывает)
Там всё другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает – мы чужие.
Мы не туда попали. Боже мой!

Мне приходят на ум эти строки, когда я брожу по моему родному – и такому чужому теперь – городу. В нём всё теперь не так, как было когда-то, как помнится сердцу. Проспект Кирова не был таким многолюдным и показушным, по нему ходили троллейбусы и обычные, спешащие по своим делам люди. Не было этих пестрящих иностранных вывесок, этих "ликующих, праздно болтающих", модно одетых толп, вечно что-то жующих или пьющих на ходу, не было и нищих с табличками, беженцев с детьми, уличных певцов и музыкантов, ставших уже неотъемлемой частью городского пейзажа. Раньше я не могла дойти до угла, не встретив двух-трёх знакомых, не улыбнувшись одному, не кивнув другому, не перекинувшись словом с третьим. Теперь знакомые лица встречаются всё реже, толпа обтекает меня, как инородное тело, не окликаая, не задерживаясь взглядом. Город перестал держать меня за свою. Он напряжённо морщится, сиюсья вспомнить обстоятельства нашего знакомства, и, так и не вспомнив, проходит мимо. Это обидно, как предательство. Он – надменный равнодушный Печорин, я – незамеченный смешной и жалкий Максим Максимыч. Улица – оборотень. "Наша улица! Уже не наша... Столько раз по ней! Уже не мы..."

Вот здесь был когда-то старый "Пионер" с билетами по 10 копеек, с танцами под баян перед киносеансом, где я посмотрела свой первый в жизни фильм "Приключения Синдбада-морехода", на который меня, шестилетнюю, привёл за ручку живой ещё брат. Сейчас здесь тоже кинотеатр, и даже вывеску с прежним названием оставили – для экзотики? Для смеха? – но это уже совсем не то. Как-то мы пошли туда с Давидом на какой-то фильм, который давно хотели посмотреть, но вскоре выскочили, не дождавшись: минут 25 шла реклама, причём с таким оглушительным звуком, что лопались перепонки. Не знаю, как другие терпели, мы не

смогли. Внутри там сейчас роскошное фойе, где беспрерывно чем-то торгуют.

А напротив стоял старенький кинотеатр "Летний", где было так райски прохладно в знойный полдень. Там посреди двора бил фонтан, куда все по традиции бросали медные монеты. И я тоже бросала, а вот не помогло сюда вернуться. Не сбылась примета. "Прошлое,пусти меня, пожалуйста, на ночь... Прошлое! Я просто пришёл погреться..." (Л. Губанов).

А вот мои родные "Липки", куда меня ещё в детстве водил отец. Здесь было летнее кафе, где мы ели мороженое в металлических вазочках. Когда он мне читал Маршака: "Сахарно морожено на блюдечки положено", я всегда вспоминала это кафе. Сейчас здесь торгуют мороженым в брикетах.

Убрали памятник Горькому и вообще все бюсты писателей. Зачем? Это вносило какую-то духовность. А чем новые памятники лучше прежних? Эта ужасная абракадабра перед зданием областного правительства под названием "сердце города", которую я про себя называю "позор города", а в народе прозвали "инфаркт миокарда"? Или памятник бесполом влюблённым на Набережной, состоящий из соприкасающихся профилей-близнецов, ни в одном из которых невозможно опознать женщину? Его даже памятником гомикам не назовёшь, настолько, судя по плотно сжатым губам и непримиримым подбородкам, эти двое друг друга ненавидят. И даже помпезный памятник Столыпину рядом с областной Думой меня не утешает. Среди окружавших его четырёх символических фигур: хлебопашца, рабочего, воина и священника – явно не хватает ещё одной – представителя интеллигенции. И вот это символичней всего.

Исчез Летний кинотеатр, что был напротив Дома офицеров, где я впервые посмотрела потрясший меня фильм "Монолог". На его месте сейчас какой-то невразумительный памятник, – круглая плита, рассечённая на две части, то ли морякам, то ли солдатам, не разобрать. Я бреду, не узнавая ни дома, ни улицы, ни воздух, ни души. "Нет, ребята, всё не так." "Не тот это город, и полночь не та..." Только деревья на месте: разрослись, вымахали, – липы, ели, тополя.

А вот здесь в подвальчике на углу Вольской была очаровательная "Чебуречная", где мы любили сидеть с Давидом. За два рубля тут можно было заказать пару аппетитных сочных чебуреков с кофе и сидеть, сколько хочешь, наслаждаясь уютом, приятной ненавязчивой музыкой и полной иллюзией уединения. В первый год перестройки тут открыли кафе "Азербайджанская кухня", куда мы по инерции зашли, но ушли, плюясь на эту скверную кухню и дикие цены. А сейчас здесь и вовсе какой-то

ресторан не для простых смертных.

Я иду и отсчитываю потери. Прохожу по Бабушкину взвозу мимо бывшего дома отца, спускаюсь к воде. Волга мёртвая – ни моторок, ни парашоудов. На аллеях не стало лавочек. Кому они мешали? Или наоборот, кому-то понадобились? На Набережной безлюдно – и это в летний выходной! Весь гуляющий люд сконцентрирован на Проспекте. На Набережной когда-то славились кафе "Юность", где поэты читали стихи, проводились поэтические конкурсы и турниры. Рядом была библиотека, чуть поодаль – магазин "Книги", куда мы часто заходили с Давидом. Сейчас на их месте магазины для богатых и пиа-бизнес-центры. А на месте моего любимого кафе "Лакомка" вырос ресторан с "гостеприимной" табличкой на дверях: "Туалет 5 р". На каждом углу – бесчисленные бары, закусочные, казино, где по два-три человека, а то и вовсе пусто. Как будто вся жизнь только в этом – жрать, пить, просяживать деньги. Нам подменили жизнь. Подменили народ. Разве дело только в том, что мы тогда были молоды? Содержание жизни было другое. Да, не было игральньх автоматов, жвачек и чипсов. Но разве они сделали нас счастливее? "И гадко в этом мире гадком жевать вчерашний пирожок" (Г. Иванов). Душа ушла из города. Человечность ушла.

Как-то поздним вечером мы возвращались с Давидом из гостей домой. Шли по незнакомой улице мимо каких-то недостроенньх высотньх зданий, и в темноте зияющие ямы окон вдруг напомнили мне разрушеннье войной дома. Что-то зловещее, чеченское виделось в этом пейзаже на фоне ночного мрака. Улицы были безлюдны, и только возле одного подъезда смутно маячила компания пьяньх. Подвыпивший голос повторял: "Вот знаешь, в чём моё удивление?.. Знаешь, в чём моё удивление?" Мы прошли мимо, так и не узнав, в чём было его удивление. Я машинально отметила в уме эту чисто платоновскую фразу. И вдруг пронзило чувство какой-то ирреальности происходящего. Словно я смотрю на всё это с того света. "Как души смотрят с высоты на ими брошенное тело." Позже я прочла в воспоминаниях Бродского одно место, поразившее меня сходством с моим ощущением того вечера: *"В этом городе я не знаю ни души... Я брёл по какой-то бесконечной главной улице, с ревуцими клаксонами, запруженной то ли людьми, то ли транспортом, не понимая ни слова, – и вдруг мне пришло в голову, что это и есть тот свет..."* А потом почти то же я прочла в стихах Иннь Кабыш:

Я городом шла наугад,
Где много огней золотых...
И вдруг охватил меня страх,
Страшнее которого нет

А что, если этот — в огнях —
Не город уже, а тот свет?

* * *

...И огни светофоров,
И скрещения розовых фар.
Этот город, который
Чётче, чем полуночный кошмар...
(Б. Рыжий)

Город призраков, город монстров,
Как хрипит он в петле погостов...
(П. Шаров)

Душе страшно. Ей кажется, что одно за другим
отсыхает всё, что её животворило. Ей кажется, что отсыхает
она сама.

После смерти я выйду за город, который люблю,
И, подняв к небу морду, рога запрокинув на плечи,
Одержимый печалью, в осенний простор протрублю
То, на что не хватало мне слов человеческой речи.
Как баржа уплывала за поздним закатным лучом,
Как скворчало железное время на левом запястье...
(С. Гандлевский)

Но я храню сбережённые, как в летаргическом сне,
свои драгоценности: нетронутые святыни, просроченные
прозрения, бесполезные идеалы. "Что делать с тоской?
Плакать? Молиться?" (П. Шаров).

Ты молилась, земля наша?
Как тебя мы любили!
(А Вознесенский)

И думаю: о жалкие умы,
Предметы не страшатся разрушенья,
Вернее, всё, что разрушаем мы,
В иное переходит измеренье.
(Б. Рыжий)

Я заметила, что гораздо лучше нахожу общий язык с
поэтами из книг, чем с людьми "без шестых чувств" из
реальной жизни. В той виртуальной реальности я чувствую
себя в своей стихии, в своей тарелке. Я нахожу в их строчках
созвучье своим мыслям и переживаниям, и от этого легче.
Хождение по мукам сменяется (или смягчается) хождением
по Музам. А недавно я получила письмо от одной моей
слушательницы, из которого поняла, что в этих своих
ощущениях не одинока.

"Когда человек перестаёт активно работать, – пишет Тамара Васильевна Усанова, – суживается круг его общения, он реже бывает на людях. И когда появляется на улице, ему кажется, что в городе что-то изменилось, что-то не так. Он обнаруживает, что не встречает более знакомых или полужнакомых, привычных лиц, которым когда-то улыбался, с которыми здоровался. Придя сюда, я вдруг увидела этих людей здесь, в вашей аудитории. Это те, в ком всегда была сильна тяга к Прекрасному, они бескорыстно и преданно любили и любят нашу словесность, нашу культуру. С радостью видишь среди них молодые, красивые, умные лица. И тогда понимаешь, что не всё плохо, есть ещё надежда. И это замечательно."

Да, здесь, на своих вечерах в библиотечном зале, я встречаю те лица, те глаза и улыбки, которых давно не вижу на улицах моего города. Это последний крохотный островок душевной чистоты и живой мысли среди всеобщего океана пошлости и бездуховности, который ещё уцелел, чудом сохранился. Это им, "людям с хорошими лицами, искренними глазами" я посвятила эти стихи:

Среди сплошной безликости
Не устаю дивиться:
Как их судьба ни выкосит –
Есть они, эти лица!

Вихри планеты кружатся,
От крутизны шалея.
Думаю часто с ужасом:
Как же вы уцелели,

В этом бездушье выжженном,
Среди пигмеев, гномов, –
Люди с душой возвышенной,
С тягою к неземному?

Вечно к вам буду рваться я ,
В зал, что души бездонней,
Радоваться овам
Дружественных ладоней.

И, повлажнев ресницами,
Веровать до смешного:
Люди с такими лицами
Не совершат дурного.

Я вас в толпе отыскиваю,
От узнаванья млея,
Я вас в себе оттыскиваю,
Взрачиваю, лелею.

Если б навеки слиться мне
С вами под небесами, –
Люди с хорошими лицами,
С искренними глазами...

Август 2002 г.

Образ счастья

Это будет совсем небольшой рассказ. Скорее, попытка поделиться одним наблюдением, истиной, которая мне открылась.

У Нагибина в "Рассказе синего лягушонка" есть пронзительное место. Он пишет там о своём новом рождении после смерти в облике лягушонка, с которым "случилось самое худшее из всего, что могло принести новое существование": он стал лягушкой с человечесьей памятью и тоской. Его мучила смертельная тоска по оставленной в той жизни любимой жене. И всё время возникала в памяти навязчивая картина: летний дождливый день. Застеклённая терраса дачи. Он с женой и собака эрдель. Дальше цитирую: *"Алиса лежала на тахте, к ней приставал щенок эрдель, требуя, чтобы его почесали. У них была такая игра: Алиса чесала его длинными ногтями по крестцу от шеи к обрубку хвоста, он изгибался, задирая морду и часто-часто колотил левой лапой по полу. А потом она говорила, словно про себя: "Надо Проше бородку расчесать", – и он тут же, жалко ссутулившись и поджимая свой обрубок, убежал и с грохотом забивался под стол, чтобы минуты через две-три появиться опять с великой опаской, тогда всё начиналось сначала. Это был ежедневный, слегка надоевший мне своим однообразием ритуал, но почему-то в тот день, когда мы погрузились в морскую пучину, я сказал себе на слёзном спазме: "Это и есть счастье. Когда-нибудь ты вспомнишь о нём."*

Это была автобиографическая вещь Нагибина, последнее, что он написал в жизни. В ней он с поразительной точностью предсказал свою смерть и характер своей смерти – всё так и случилось вскорости, и это невольно наводило на жутковатую мысль: может быть, и всё остальное – с этим посмертным превращением – он тоже угадал и предвидел? Завидев где-нибудь в пруду обычную лягушку, я вздрагивала и всматривалась в неё с каким-то мистическим чувством, словно надеясь углядеть в ней человечесьи черты. Но главное, что меня поразило в рассказе, – не это.

В жизни Нагибина с последней женой (они прожили с ней 30 лет) было столько всего замечательного: столько путешествий, старинных городов и храмов, дивной музыки и нетленной живописи, а образом счастья оказался мокрый сад,

терраса и пальцы любимой, погружённые в завитки собачьей шерсти. И я подумала: а что бы мне вспоминалось на том свете чаще всего, что бы стало моим навязчивым до боли образом утраченного счастья? И вспомнилось тоже такое обычное, будничное, простое, но от чего защемило сердце.

Мы с Давидом гуляем поздним вечером по заснеженной Цветочной улице неподалёку от дома. С нами маленький Дендик – ему всего годик. Это его первая зима, он бурно радуется снегу, вертится волчком, бегаёт от меня к Давиду и обратно. Я убегаю, он догоняет меня с радостным лаем. Мы с Давидом целуемся в свете фонарей. Это было так сказочно хорошо. Счастьем было всё: мои промокшие варежки, растрепавшиеся волосы, его запорошенная снегом ушанка, огоньки светящихся окон, пощипывающий морозец. Я не думала, что запомню эту минуту на всю жизнь, мне казалось, что таких минут у меня будет навалом, что так будет всегда. Но Дендика уже нет. Умерла бабушка, умер отец. И по улице той мы уже давно не гуляем.

Счастье – это не что-то из ряда вон выдающееся. Это то, что ты любишь, чем живёшь, чем дышишь, не замечаемое тобой, как воздух. До тех пор, пока не почувствуешь его нехватку и не начнёшь судорожно ловить губами памяти.

Пусть это лето длится, длится...
В душе с него снимаю слепок.
Гляжу вослед любимым лицам –
О, только бы не напоследок!

Не признавайтесь в любви никогда

Да и нет не говорите никогда.
Но упрямо вы твердите "нет" и "да".
Норовите дать на всё прямой ответ:
"Любишь?" – "Да". "А не разлюбишь?" – "Что ты, нет!"
(Л. Миллер)

Обычно это слово произносит женщина. Реже – мужчина. А у меня его тогда произносило всё вокруг – окна домов, лица улиц, морды троллейбусов, крики ворон, голоса прохожих, клаксоны машин, всё говорило, намекало, кричало: "Да! Да! Да!!!" А первыми эти слова сказали твои глаза. Губы говорили "нет", но глаза говорили совсем другое. И я ИМ поверила.

Мы ехали в машине. Там ты мне сказал, что ничего быть не может. У меня замёрзли руки, и я попросила тебя их согреть. Ты гладил мои руки, сначала дружески и утешающе, а потом – я почувствовала эту неуловимую перемену – как-то иначе. Я боялась поверить своему чутью. Боялась

почувствовать себя счастливой.

Когда-то Мандельштам сказал своей молодой жене: "А кто тебе сказал, что ты должна быть счастлива?" Он осадил её, запретил быть счастливой. Но разве это запретишь? Я вдыхала всей грудью морозный воздух. Ворованный воздух нашей встречи. А потом прозвучало это "да". Ты его не произносил, оно висело в воздухе, дрожало хрустальной сосульчатой каплей, которая вот-вот должна была сорваться. Я это первой почувствовала. И со вздохом облегчения, с сознанием великой внутренней правоты обняла тебя за плечи. Всё уже было сказано за нас.

Я вспомнила всё это, получив недавно письмо от одной моей читательницы. В нём, в частности, она приводила строки одного моего стихотворения, которое ей захотелось переделать "под себя." Стихотворение такое:

Без пяти минут любовь.
Не хватает малости:
Радости, чтоб грела кровь,
Ласковости, жалости.

Как бенгальские огни,
Искрами манящие.
Пусть красивые они,
Но – ненастоящие.

Строчку "радости, чтоб грела кровь" она изменила на "недовысказанных слов". Ей казалось, что так будет лучше. *"Стихотворение это, – писала она, – меня настолько покорило, что мне захотелось внести в него свои личные переживания, через него выразить и себя."* И откровенно поделилась этими переживаниями: *"В моей жизни была такая ситуация почти на 100%. И вот я поразилась, что Вы написали как будто именно обо мне. У меня очень любящий муж, но он сдержанный по характеру. Он считает, что проявлять жалость можно только к калекам. И никогда не жалеет, даже когда мне плохо. Не проявляя внешне сострадания, он предложит путь решения проблемы. Безмерной ласковости и романтичности от него не дождёшься. Он молчалив, полагая, что надо разговаривать кратко, по существу и только для донесения полезной информации. Он – моя опора, добытчик, заботливый отец, у нас в жизни достаточно радостных моментов. Но мне вечно не хватает именно тех недовысказанных слов, внешнего проявления нежности."*

Тогда я не ответила ей, а сейчас попытаюсь сформулировать то, что я думаю по этому поводу. Впрочем, у Бориса Рыжего есть стихотворение, где всё сказано как

нельзя лучше:

Не признавайтесь в любви никогда.
Чувства свои выдавая, не рвите,
"нет" ожидая в ответ или "да", –
Самые тонкие, тайные нити.
Ты улыбнёшься, и я улыбнусь,
Я улыбнулся, и ты улыбнулась,
Счастье нелепое, светлая грусть:
Я не люблю я люблю не люблю вас.

И у Александра Тимофеевского о том же:

Как славно, что мы безоружны,
Доверчивы так и добры,
И нам совершенно не нужно,
Не нужно всей этой муры.
Не нужно просить и канючить:
Ты любишь, ты любишь – ответь.
Друг друга нам незачем мучить,
Друг другом не надо владеть.

Что изменится оттого, что произнесёшь это слово? Люблю. Как будто дверца захлопнется. Это же просто звук, ничего больше. Важна суть, а не оболочка. Мне никогда не нужны были слова. Что они могут добавить к тому, что уже есть? ЭТО в воздухе стоит, я это кожей чувствую – любовь. Вот он просто посмотрит, что-то незначашее спросит, а я уже чувствую. Или не чувствую, сколько бы он соловьем ни разливался. Зачем все эти знаки – цветы, подарки, нежности, если нет главного? А если оно есть, то всё это само собой появится, автоматически: и слова из груди вырвутся, и последний грош на подарок потратишь, потому что хочется радости другого, как своей. Это слово всё вокруг за него скажет, если оно – в его сердце, в его глазах. "Не мучь, не трогай, не понуждай и не зови", – писал Блок.

Другое дело, когда ты хочешь себя обмануть, уверить себя, что ты кому-то небезразлична, и начинаешь, как скупой рыцарь, перебирать свои сокровища, вспоминать какие-то незначашие случайные слова и придавать им некий смысл. Но опять же здесь не столько сами слова играют роль, сколько их оттенки, интонация, теплота в голосе и взгляде... Но это нельзя выпрашивать – только собирать из того, что само, как яблоко, в руки упало.

Это яблоко? Нет, это облако,
И пощады не жду от тебя.
(С. Гандлевский)

Это – как облако, которым можно только любоваться издали, как музыка, которую "нельзя руками." У меня в одном старом стихотворении есть такие строчки:

Когда же мне придёт черёд не быть
И облаком лететь куда-то мимо –
Я и оттуда буду Вас любить
Любовью лютой и неутолимой.

Тогда я была слишком молода. Сейчас я бы так написала: "Любовью лёгкой и неуловимой." Сейчас я это так чувствую.

Когда человек умирает...

*Когда человек умирает –
Изменяются его портреты.
А. Ахматова*

Их замечаешь, начинаешь о них думать, когда их уже нет. Когда человек умирает, изменяются не только его портреты, изменяется наше видение его. Открывается нечто такое, что не виделось глазом при его жизни.

Я хочу написать сейчас не о близких, не о друзьях и любимых, это слишком тяжело и больно. О чужих, в сущности, людях – соседях. Живёт человек где-то невдалеке от тебя, встречаешься с ним во дворе, в подъезде, у водопроводной колонки, в магазине, обмениваешься ничего не значащими фразами. И человек этот не занимает никакого места в твоей жизни, для тебя его как бы и нет. Так, некая деталь дворового антуража, вроде лавочки у подъезда. И вдруг в один непрекрасный день до тебя доносятся звуки траурного марша, женские причитания. Ты выходишь на балкон и всматриваешься сверху в окаменевшие, с трудом узнаваемые черты покойника в обрамлении цветов и траурных лент. В памяти вспыхивают какие-то сценки, реплики, фрагменты бытия, связанные с этим человеком. И многое предстаёт уже в ином свете.

В прошлом году умерла одинокая пожилая женщина из соседнего подъезда. Когда-то она работала на нашем заводе, но я её совсем не знала. Однажды она подошла ко мне на улице:

– Я слышала, Вы писатель. У Вас книга вышла. Я бы хотела с Вами встретиться, рассказать Вам про свою жизнь. Может быть, напишете потом...

– Ну что Вы, какой я писатель! – отмахнулась я.

Дома мы с Давидом посмеялись по этому поводу. Хотя у меня вышло к тому времени уже немало книг, я ещё не привыкла к званию "писатель" и иначе как в ироническом ключе его к себе не применяла. Эта женщина ещё пару раз подходила ко мне, соблазняя рассказом о своей "трудной, богатой событиями жизни", но я отделялась какими-то

отговорками. И вдруг узнаю о её смерти. Вот уже год мне не даёт покоя эта её нерассказанная жизнь. Она словно предчувствовала свою смерть и спешила остаться этим рассказом хоть в чьей-нибудь памяти. Как сильна в людях эта потребность остаться, хоть частичкой своей жизни, хоть проблеском её в чьём-то сознании, вырваться из предначертанного судьбой замкнутого круга одиночества, не дать оборваться цепи времён. А я бездумно оборвала это звено. Вместе с женщиной ушла навек её тайна. Что она хотела мне поведать? Может быть, ей нужен был совет, доброе слово, просто хотелось облегчить душу исповедью? Может быть, эта её жизнь помогла бы и мне что-то понять в своей собственной? Может быть, мы друг другу были посланы свыше?..

А несколько лет назад на нашей лестничной площадке жила одна семейная пара: старик со старушкой. Он был слепой. Она каждый день водила его по двору на прогулку. Он – в чёрных очках, с палочкой, она – седенькая, всегда аккуратно одетая, шла, держа его под руку, слегка припадая головой к его плечу. Они гуляли по кругу. Такие одинокие, беспомощные, трогательные.

Потом она умерла. Он долго не выходил из квартиры. Вышел в праздник 9-го мая. Я увидела его с балкона. Он сидел на лавочке: грудь в орденах, чёрные очки, палочка. Впервые один. Я смотрела, умирая от жалости. Хотелось спуститься, подойти, взять под руку, поводить по двору так же, как она. Но что-то во мне не пускало. Не условности, а ощущение, что этим сделаю ему больно. Ведь я – это не она. Я ему напомию, разбережу. Он сидел молча. За чёрными очками ничего не было видно. Что он думал? Какой ад творился в его душе?

Вскоре старик умер. В их квартире поселились родственники: дочь и внучка с семьёй. Как-то дочь принесла нам пирог. Не простой, а какой-то особый, якобы приносящий счастье, если им поделиться с несколькими близкими людьми. Я удивилась, ведь я же ей в сущности никто, мы еле знакомы.

– Вы папу с мамой моих знали, – сказала она, глотая слезы.

И ещё одного соседа я не могу забыть. Он умер недавно, прошлым летом. Это был сосед сверху. Я его не любила: от него постоянно были какие-то неудобства. Он без конца что-то чинил, прибывал, стук стоял на весь дом. То и дело нас заливал, причём всякий раз отрицал свою вину, уверяя, что это якобы "по трубе", хотя пятна расплывались в центре. А когда этот инцидент случился в очередной раз в отсутствие Давида – он был в командировке, и я заявила к

нему с претензиями, так даже попытался ко мне приставать. Я тогда аж задохнулась от возмущения: мало того, что залил, так ещё и... Словом, симпатии этот человек у меня, мягко говоря, не вызывал. И вот однажды встречаю его во дворе, ведомого под руку родственницей – дочерью, что ли, которая приехала, видимо, вызванная телеграммой. Инфаркт. Я его с трудом узнала: исхудал до невозможности, трясётся весь, с палочкой, в глазах – ужас. Этот ужас говорил яснее всяких слов: он – оттуда.

Шли дни, недели. Он уже стал ходить по двору один. Быстро-быстро, вокруг дома, стуча своей палочкой, с ужасом в глазах. За ним гналась смерть. Он, казалось, слышал её дыхание и спасался бегством. Наверное, ему сказали врачи, что нужно каждый день выходить на свежий воздух, и он практически не выходил из двора. Я вспоминала, глядя на него, строки Сологуба:

Подыши ещё немного
Тяжким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший, как дым.

Говорят: перед смертью не надышишься. Это был тот случай, когда поговорка воспринималась буквально.

У подъезда он беспомощно звал, подняв голову: "Лида!" Не мог сам открыть дверь, не мог вызвать лифт. Сидел на лавочке со стариками, с кем раньше не сидел никогда. Он жался к ним потеснее, словно хотел обмануть смерть: вот он тут, в тесном рядке с людьми, они его не выдадут ей, ведь правда? Искательно заглядывал в глаза: ведь я такой же, как они все, да? Вот я сижу здесь, дышу, смотрю, слушаю, и ничего со мной не может случиться. Боже, как он не хотел в лапы смерти! И как чувствовал её неумолимую неотвратимость.

Однажды сидела на балконе, читала. Вдруг слышу: "твою ма-ать!" Он грохнулся со своей палкой. Стоял на коленях и не мог подняться. Сколько в этом ругательстве было тоски, обречённости, отчаянья. Я подумала: это всё. Он понял, что ему не выкарабкаться, не подняться. На другой день он умер.

Собака выла, как человек. А жена была спокойна.

...Тем больше люблю собак

Марк Твен писал: "Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю животных." Я бы добавила: особенно собак. Почему, скажем, не кошек – изящных и загадочных, у которых, по выражению Бродского, нет ни одного некрасивого

движения? Кошка – независима. Она лишь благосклонно пользуется тем, что даёт ей человек, но живёт сама по себе, привыкая не столько к хозяину, сколько к месту. А собака – друг, преданно, простодушное существо, у которого все чувства и эмоции, что называется, на лице написаны. Кошка – коварна, капризна, она – "вещь в себе", маленький булгаковский сфинкс. А собака – душа нараспашку, вся на ладони. Кошкой можно любоваться, с собакой – дружить. Кошка нас терпит, позволяет себя любить, собака – любит бескорыстно и самозабвенно.

Для пса человек – будто солнце из мрака –
Молитва, мечта, божество.
Бесстрашно его охраняет собака,
Спасёт и умрёт за него.

(М. Петровых)

"Обожаю собак!" – могла бы я повторить вслед за Цветаевой. У Цветаевой, кстати, есть стихотворение "Кошки", где в последних строках каждой из трёх строф она утверждает то, что считает главными свойствами кошачьего характера: "В кошачьем сердце нет стыда", "В кошачьем сердце рабства нет", "В кошачьем сердце нет любви." Поскольку Цветаева была склонна противопоставлять собак кошкам, здесь можно сделать вывод: она считала, что в собачьем сердце есть стыд, есть рабство, есть любовь. По мнению Цветаевой, все качества собак выше, чем у кошек. В "Повести о Сонечке" она пишет: "Я, как Сонечка, хочу сама любить, как собака, хочу сама любить... Да разве Вы ещё не поняли, что мой хозяин – умер, и что я за тридцать земель и двудесять лет – просто – воюю?!" А в её стихотворении 1916 года, посвящённом Никодиму Плущер-Сарна, есть строки:

Я тебя отвоюю у всех времён, у всех ночей,
У всех золотых знамён, у всех мечей,
Я ключи закину и псов прогоню с крыльца –
Оттого, что в земной ночи я вернее пса.

Когда-то, ещё на заре бытия, до первой пролитой крови, мир ощущался как единый организм, в нём циркулировали соки, роднящие всё живое на свете. Люди, животные, птицы – составляли одну большую семью, некое вселенское братство. Это потом учёные стали утверждать, что человек – венец природы, что он произошёл от обезьяны. А когда-то считалось, что люди произошли от так называемых "жёлтых псов". В мифологии почитался пёсеголовый бог Анупис. У Данте "гончая" означает загадочного провозвестника Второго Пришествия, а монахи-доминиканцы называли себя "псы Господни" – *Domini canes*. В древней Греции были философы-киники, которые называли

себя собаками. Это сейчас слово "собака" почти ругательное, а в древности считалось, что собаки – очень мудрые существа. Об этом пишет, в частности, Платон в диалоге "Государство", где вкладывает рассуждение о мудрости собак в уста Сократа. Так что, если верить старинным легендам, то человека связывает с собаками древнее родство, генетические узы. Не оттого ли так много у нас поговорок, пословиц, связанных с собакой: "замёрз как собака", "устал как собака", "собачий холод", "жизнь собачья" и т.д.

У М. Цветаевой в "Воспоминаниях о современниках" есть глава, которая называется "Защита твари." Там она приводит свой диалог с матерью, когда была совсем маленькой и впервые знакомясь с "Евангелием":

– Почему в Евангелии совсем не говорится о животных?

– "Птицы небесные".

– Да ведь "как птицы небесные", опять о человеке...

– А волы, которые дыханием согревали младенца?

– Этого в Евангелии не сказано, это уж мы...

– Ну, осёл, наконец, на котором...

– И осёл только как способ передвижения. Нет-нет, в Евангелии звери явно обойдены, несправедливо обойдены. Чем человек выше, лучше, чище?..

А действительно, чем? Тем, что "человек – звучит гордо"? А вот учёный 17 века Кёстлер, например, считал человека ошибкой эволюции и называл его "жалкое недоживотное".

Как-то по ТВ была передача "Семья", в которой выступил батюшка и высказал своё негодование по поводу собак, которых церковь считает нечистым животным. Если собака зайдёт в церковь – та становится осквернённой. В собачьем облике якобы воплощены бесы, их нельзя держать в семье – православная религия запрещает держать пса в доме. „Самый плохой человек – лучше хорошей собаки" и пр. А вот для Цветаевой собака – это божество. Собаки были для неё в том же ряду, что и поэты, негры, евреи, то есть все, кто подлежал гонению, кто был обижен людьми и нуждался в её защите. И, может быть, не случайно петербургское кафе, где собирались поэты серебряного века, называли "Бродячей собакой": поэты тоже нередко ощущали себя неприкаянными и одинокими, их связывало какое-то генетическое родство с этим животным. Как писал Вениамин Блаженный:

И если есть у зверя ум, так это

Союз природы с детскою душой.

В нём что-то от небрежности поэта,

В нём что-то от повадки нагишом.

Где-то я читала, что все люди делятся на два вида: одни в каждом человеке видят собаку, а другие – в каждой собаке пытаются разглядеть человека. А. Вертинский, например, ко всем собакам обращался исключительно на "Вы". В стихотворении "О моей собаке" он писал:

Это не важно, что Вы – собака.
Важно, что Вы – человек.
Вы не любите сцены, не носите фрака,
Мы как будто различны, а друзья навек.

И хотя Вам порой приходилось кусаться,
Побеждая врагов и "вражнь" гоня,
Всё же я, к сожалению, должен сознаться,
Вы намного честней и благородней меня.

И когда мы устанем бежать за веком
И уйдём от жизни в другие края,
Все поймут – это ты была человеком,
А собакой был я.

Актриса Нина Ургант вспоминала, как однажды, возвращаясь из театра домой, она увидела, что весь её двор-колодец заполнен людьми. И над этой толпой из открытого окна ревет голос Высоцкого. Ургант вбежала в квартиру и увидела: сидит Высоцкий напротив её собаки Зурикеллы и поёт свои песни. Он был совершенно уверен, что собака всё понимает. "Посмотри, какие у неё глаза", – сказал он ей. А Бунин, например, читал свои рассказы не жене, а своей собаке, считал, что она лучше его понимает. А Маяковский! Этот громоподобный, железобетонный исполин, безжалостный к врагам, с квадратной челюстью и непримиримым взглядом – как он находил эти пронзительные, полные неизбывной нежности и жалости слова, когда писал о животных!

Я люблю зверьё. Увидишь собачонку –
Тут у булочной одна – сплошная плешь –
Из себя и то готов достать печёнку –
Мне не жалко, дорогая, ешь!

Маяковский часто в стихах отождествлял себя с собаками, лошадьми, медведями и другими зверьми. В стихотворении "Вот так я сделался собакой" он пишет:

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злось не так, как могли бы вы:
Как собака, лицо луны гололобой
Взял бы и всё обвыл.

И в трагедии "Владимир Маяковский":

Господа! Остановитесь! Разве это можно?!
Даже переулки засучили рукава для драки.
А тоска моя растёт, непонятна и тревожна,
Как слеза на морде у плачущей собаки.

Маяковский говорил, что любит животных за то, что они "не люди, а всё-таки живые." Л. Брик в своих воспоминаниях писала: "Маяковский научил меня любить животных. В нашей совместной жизни постоянной темой разговора были животные. Когда я приходила откуда-нибудь домой, В. В. часто спрашивал, не видела ли я "каких-нибудь интересных собак и кошек". В письмах ко мне он много писал о животных, а на картинках, которые рисовал во множестве, изображал себя щенком, а меня кошкой." И ещё: "совсем он был тогда ещё щенок, да и внешнеюстью был похож на щенка: большие лапы и голова, а по улицам носился, задрав хвост, и лаял зря, на кого попало. Мы прозвали его Щеном, и он в письмах и даже в телеграммах подписывался "Счен" (так иногда транскрибировали на русский язык подпись Маяковского в поступавших из-за границы телеграммах: Счен – который в свою очередь был транскрипцией латинскими буквами слова Щен). Телеграфисты недоумевали, и на многих телеграммах была служебная приписка: "Да – счен, верно – счен, странно – счен."

В 1941 году Л. Брик издала книжку для детей "Щен" – о собаке, которую любил Маяковский. Поэт вспомнил Щеника добрым словом в своей поэме "Хорошо":

Двенадцать квадратных аршин жилья.
Четверо в помещении –
Лиля, Ося, я
И собака Щеник.

Ирина Одоевцева мечтала в детстве о "стране собак", "где только собаки и ни одного человека", а она – "собачья королева". Ей вторит Инна Кабыш, которая считает, что "рай – это там, где нет людей, а только дети и собаки."

Как-то я читала дневники Анатолия Якобсона и натолкнулась там на такое высказывание, которое полностью разделяю: *"Думаю так: хотя достойное отношение к животным ещё не доказывает высокой породы человека, но худое отношение к ним (отчуждённость, безразличность, страх) всегда наводит на грустные размышления относительно породы данного субъекта и целых категорий лиц."*

Часто можно слышать раздражительные реплики типа "людям плохо, самим жрать нечего, а вы о собаках печётесь". А почему, собственно, такое чёткое разграничение? Если вспомнить индуистскую религию с её теорией переселения душ – кто знает, кем мы были в прошлой жизни и в кого наша душа переселится в будущей? Мы, правда, не индусы, и я, честно говоря, не верю в такие метаморфозы, но эта религия симпатична мне уже тем хотя бы, что побуждает людей хоть немного представить себя в шкуре животного, почувствовать

его боль и тоску. В этом плане мне очень близок В. Блаженный с его ключевым мотивом незащитных животных, оказывающихся ближе всех к Небу, и одинокого человека – защитника зверей перед Богом:

Моление о кошках и собаках,
О маленьких изгоях бытия,
Живущих на помойках и в оврагах
И вечно неприкаянных, как я.

Они глядят так долго, долго, долго,
Что перед ними, как бы наяву,
Рябит слеза огромная, как Волга,
Слезая зверей... И в ней они плывут.

В 1999 году вышла моя книжка "Собачья жизнь" с непридуманной историей о судьбах бездомных животных. Презентация её в библиотеке переросла в стихийный митинг: люди выходили и выходили к микрофону, рассказывали свои наблевшие собачьи истории, одна страшнее другой... Закончилось всё это коллективным посланием Брижит Бардо и перечислением денег на счёт саратовского приюта. А в прошлом году эту мою книжку прочитала учительница школы 41 Л.С. Данилова и прочла её школьникам, после чего все 40 учеников 7 класса её купили и писали по ней сочинение. Потом все эти сочинения отдали мне. Не могу удержаться, чтобы не привести хотя бы несколько выдержек из них, самых очаровательных:

"Когда я прочитал пару рассказов, меня тронуло за душу, и я не мог уснуть ночью, думая об участи тех собак. После того, как я прочёл эту книгу, я стал больше уделять внимания собакам. У нас во дворе мы нашли бездомного щенка. Сделали им домик из картонки и поставили миску с едой, которую они быстро опустошали. Каждый день я заходил после школы к питомцам... Если б у меня были бы деньги, то я открыл бы хороший приют для собак, распространял бы листовки, призывающие помогать собакам, поднял бы этот вопрос на телевидении... Но это в мечтах. Люди лучше покажут по новостям про какое-нибудь убийство, они считают это интересней." (Федин Иван)

"Ощущение от прочитанного было ужасное, слезы наворачивались сами. Всю ночь я думала о несчастных животных и о той бомже, которая съела их. Да лучше бы она украдала еду в магазине!.. Поразмыслив над этим, я решила помогать и опекать животных. Пусть не могут другие, зато я могу. Совесть моя будет чиста перед ними." (Харитоновна Анастасия)

"Я не могла прочитать без слез эти бесхитростные рассказы. Мне показалось необычным, что собаки похожи на

людей, иногда даже лучше. Я прочитала книжку за один день. Она заставила меня задуматься, насколько жесток этот мир... Приют – это не решение проблемы. Сейчас нет денег, чтобы создать нормальные условия, но есть выход: заботиться о собаках и не выбрасывать их на улицу. Лучше взять себе беспородистую собаку, она смиленнее, чем породистая, красивее – это уже доказано." (Данилина Олеся)

"Эта книжка очень сильно затронула меня, ведь раньше я проходил мимо бездомных собак и не обращал на них внимания, а теперь возвращаюсь из булочной домой с половиной батона или буханки хлеба, потому что по дороге отдаю всё голодным собакам. У меня сердце разывается на части, когда на моих глазах бьют или издеваются над животным. Ведь если бы люди не били, не выгоняли и не лишали жизни собак, то книга "Собачья жизнь" никогда не появилась бы на свет." (П. Маврин)

"Однажды я шёл с одним знакомым мальчиком по улице, и там часто бегают рыжая собака. Она никогда никому не делала ничего плохого, ко всем была ласкова. Вот Серёжа и говорит мне: "Хочешь посмотреть, как я сейчас её пну, а она мне ничего не сделает? Я уже пробовал." "А если тебя вот так же пнуть, тебе будет приятно?!" – ответил я. Я посмотрел ему в лицо, он замолчал. Мне стало понятно, что с таким человеком не стоит дружить... Мы много раз с друзьями обсуждали книгу "Собачья жизнь." Книга заставляет задуматься о жизни, о её смысле. Мне особенно больно, ведь истории написаны писателем по реальным событиям. Как люди могли превратиться в зверей?!.. Хочется быть добрее и внимательнее ко всему живому на земле." (Бесецкий Никита).

"Я не могу читать эту книгу без слез на глазах, без трепещущего от жалости сердца. Человек растёт, а его душа может остаться маленькой, если её не растить. Эта книга помогает растить душу. Я считаю, что каждая семья обязана иметь такую книгу в своей домашней библиотеке. ...Собаки как люди, а многие даже лучше людей. Собаки любят, и любят открыто, не пытаясь спрятать свою любовь, а хотя им не надо её прятать. Собаки любят не за красоту, не за положение в обществе, они любят за самое главное, за душевные качества. Собаки добрые и хорошие. Если собака на вас лает, не бейте её, не пинайте, просто жизнь научила её так делать, защищаться. Поймите и пройдите мимо.

Выражаем огромную благодарность автору потрясающей книги "Собачья жизнь". Это прекрасно, что хоть кто-то решился идти против трудностей и проблем. Обещаем идти по Вашим стопам и спасать гибнущие души

(собак) людей". (В. Померовченко).

А ученица 7 класса гимназии № 4 Даша Безменова писала по этой и другим книжкам доклад "Изображение животного мира в произведениях саратовского писателя Н.М. Кравченко", с которым выступала на научно-практической конференции города. Может быть, кому-то это покажется смешным или нескромным, но я горжусь и очень дорожу такими вещами, как свидетельством своего творческого "не зря". Если б даже у одного ребёнка книжка вызвала бы хорошие чувства и побудила бы к каким-то реальным действиям – и то это было бы немало.

Уже после всех этих жутких событий, описанных в книжке, в нашем дворе произошло ещё одно: убийство щенков Малыша и Рыжика. Я рассказала об этом в своём стихотворении "Она":

Собачники приехали во вторник.
В душе донныне горечь и упрёк.
Спешили люди, убирался дворник.
Никто не защитил, не уберёг.

Под солнышком тогда они сомлели,
Доверчиво раскинувшись во сне.
Была как раз пасхальная неделя.
Природа оживала по весне.

Их детвора звала Малыш и Рыжик.
Подстилка ещё тёплая была,
Когда палач, благой заботой движим,
Сгробал в мешок убитые тела.

Но хуже всех была одна старуха,
Что набрала тот номер роковой.
Она шаги печатала упруго
И с поднятой ходила головой,

Гордясь собою, выполненным долгом:
Двор наконец очищен от щенков.
А мисочки ещё стояли долго,
Нетронутым налиты молоком.

Я видела потом, как спозаранку
Она спешила в церковь с куличом.
Уверенно плыла, держа осанку,
Как будто в этой смерти не при чём.

По крови той невидимой ступая,
Вступая в новый день и в новый век,
Бесчувственная, злобная, тупая,
Не понимая, что не человек.

Это стихотворение с неожиданной быстротой широко распространилось в нашем дворе: его переписывали от руки, передавали из квартиры в квартиру, клеили на дверях подъездов, одно даже прилепили на дверь той старухи. Приходила корреспондентка из "Рекламы-Недели", записывала возмущённые высказывания жильцов. Маленькая Олеся описала потом всю эту историю в своём рассказе, который был опубликован в газете, но в бездарно отредактированном, причёсанном виде. А я бы дала его так, как он был написан, не изменив ни слова. Вот он, этот рассказ.

*Мальши – дворовый пёс
(было по правде)*

Когда Мальши был маленьким, то перед его глазами в подвале убили его братьев и сестёр. А он один выжил. И после этого он начал всех бояться, но добрые люди его кормили и приручили. Мальши жил под лестницей. Мальшиа весь дом подкармливал. Он был: рыженький с чёрненьким, лапки у него были как будто гольфики – рыженькие, грудка тоже была рыженькая, а остальное было чёрным. Глазки у Мальшиа были как у человека.

Но ему было одному скучно, и он нашёл себе собачку, звали её Джесси. Они были вместе около месяца, потом Джесси исчезла. Вскоре весь двор узнал, что её съела беззубая бабка. Мальши два дня её искал. Но потом он привёл другую. Она была очень красивая – белогрудка. За Белогрудкой прибежал один рыжий пёс – его звали Рыжик. Их всех очень любили. Но один раз они пригрелись на солнышке так хорошо, и на них было сладко смотреть.

Но одна злодейка вызвала собачников, и Мальшиа и Рыжика убили. Убили их так: они стреляли в них ядом. Положили в машину. Когда их привезли на "место", то их отравили газом. Эта злодейка живёт в кв. 120, дом 106 (проспект 50 лет Октября). И весь дом плакал. Ведь так жалко, когда с самого детства их все знали, и ТРУДНО ИХ ПОТЕРЯТЬ!

Мы все надеемся, что им там, на небе, очень хорошо. Вот мы тут плачем все, а они радуются новой жизни. Тут они спали на улице зимой, весной, осенью и летом, а там, я так думаю – вечное лето. И они всегда ходят рядом с нами, только мы их не замечаем. Все умершие люди, животные, насекомые, млекопитающие, рыбы и т.д. живут там хорошо и дружно. И нет там никаких проблем и злых людей, как некоторые.

Конец!!!

Олеся – моя соседка по подъезду. Я писала о ней в стихах:

Маленькая девочка Олеся.
На руках котёнок иль щенок.
Как она по-женски их жалеет –
Тех, кто в этой жизни одинок.

В непогоду с возгласом "Бедняжка!"
В тайне от соседей и семьи,
Каждую окрестную дворняжку
Наряжает в кофточки свои.

А когда огромная собака
Дать щенку хотела смертный бой –
То, не испугавшись, не заплакав,
Заслонила пёсика собой.

Олеся всё в книгах принимает за чистую монету. После прочтения "Рассказов о животных" Сетон-Томпсона, которые я ей дала, спрашивала с расширенными глазами: "Неужели это всё было по правде?" А прослушав стихотворение Маршака "Пудель", искренне недоумевала по поводу старушки, которую пудель замотал в клубок: "Но как же она его не заметила?"

Первый свой рассказ она написала о Микки, которого подобрала на I Дачной. Ей тогда было лет семь. Она записала его в специальную тетрадь, которую назвала "Тетрадь для работ по рассказам".

Микки

Когда Микки был маленьким, он отличался от всех собак, потому что он не грыз обувь, мебель. Он больше всего любил ходить гулять. Он вырос. Микки то и дело ходил гулять. Когда он возвращался домой, лаял у нашей двери.

Микки был обидчив, и его все любили! Когда он ходил на I Дачную, он стоял и ждал, когда ему дадут колбасу. НО ВСЕ РАВНО ЕГО ВСЕ ЛЮБИЛИ!

Последние слова были у неё записаны аршинными буквами в пол-листа, что должно было, видимо, символизировать величину и непомерность этой любви.

Мой обожаемый Микки. Настороженный взгляд горящих в темноте серых глаз. Типичный волчок из мультфильма Норштейна. Когда я смотрю на морду Микки, я вспоминаю, что все собаки произошли от волка. Глядя на изящного Дендика или ласковую Линду, я как-то не могла заставить себя поверить в их происхождение. А при взгляде на Микки невольно думаешь: ну, этот точно от волка. Хотя Микки вовсе не злой. Да, он где-то бандит: как-то вырвал у меня из рук вафельный стаканчик мороженого и, не моргнув глазом, слопал. Больше того: у одной женщины на перекрёстке вытащил палку колбасы из сумки и, понимая

прекрасно всю тяжесть содеянного, дунул в сторону 2-й Дачной. Не появлялся дома два дня: ел колбасу.

Вообще у Микки три имени. Полное его имя, данное ему Олесей, Микки-Маус. Во дворе его зовут проще: Микола, а на базаре почему-то Кузьма. Когда он там впервые появился, ещё не знали, что он Микки, и прозвали Кузьмой – оно ему больше подходит. Микки на все имена откликается с готовностью, по принципу "хоть горшком назови", только жрать давай.

Микки-Кузьма непрерывно терроризирует жителей нашего подъезда, особенно гостей, пришедших к кому-то, в его понимании – чужаков. В квартиру он ещё кое-как пустит, облаяв и напугав до беспамьятства, но обратно уже не выпустит: бросается на выходящего из двери человека торпедой и загоняет его обратно внутрь. Приходится идти на хитрость: вызывать лифт, заманивать Микки туда чем-нибудь вкусным и отправлять на 9 этаж. Пока он туда едет, оглашая весь подъезд возмущённым лаем, гость должен пулей успеть выбежать из подъезда, пока разъярённый Микки не успеет спуститься вниз и отомстить за обман и обиду. Многие гости после такого приёма и проводов забывали к нам дорогу. Почтальоны, наученные горьким опытом, прежде чем разносить пенсии, поднимались к хозяевам пса и требовали его устранения. Микки запирали в ванную.

По вечерам – в одно и то же время – Микки появлялся под нашей дверью и начинал свой "концерт". Он выводил тоненько свои собачьи зонги на манер нищих бродячих певцов сиротским голоском, прислушиваясь в паузах: как? Подействовало? Потом скулил ещё жалобнее, прямо-таки надрывал душу. Если меня (или кого-то из двух соседних квартир) это не пронимало и никто, приоткрыв дверь, не швырял ему в открытую пасть, тут же с готовностью подставленную, кусочка мяса, колбасы, сосиски или, на худой конец, сушки, печенья, Микки брал тоном выше, выводя ну уж совсем невыносимо жалостные рулады. Если же и это не помогало, начинался угрожающий рык, переходящий в оскорблённый и требовательный лай. Потом опять – скулёрж, нытьё. И так до тех пор, пока у жильцов не сдадут нервы и Микки не будет накормлен до отвала. После чего он с чувством выполненного долга убирается восвояси. Где это "восвояси" – одному Богу ведомо. Микки может отсутствовать и день, и два.

Вот сейчас он бежит впереди меня куда-то своей обычной деловой трусцой. Ушки торчком начеку, задние лапки чуть скошены, пятки стёрты от долгой беготни, но хвост всегда победно распушен, развевается по ветру, как знамя. Хвост свой Микки несёт по жизни гордо и смело,

никогда не позволяя ему понуро опуститься или поджаться от страха. Это пёс с психологией победителя. Он всегда добивается своего.

А вот Линда – совсем другой характер. Её точный портрет – на обложке моей книжки "Собачья жизнь". Самое поразительное, что Линду я подобрала через два года после выхода этой книжки. Словно судьба забежала вперёд и показала мне – как в сказке с волшебным зеркальцем – облик будущей моей питомицы.

Роста Линда среднего, шерстка трёхцветная: частично пегого, серо-белого, но в основном рыжего цвета. Глазки чёрные, как маслины, живые, блестящие, смыслённые. И сама она очень умна. Иногда мне кажется, что она понимает человеческую речь. Имя Линда дала ей Олеся, ко мне она попала уже с этим именем. Как её звали в прошлой жизни – до того, как она потерялась или её бросили – никто не знает. (Я бы назвала её проще: Моськой или Жучкой – это ей больше идёт.) Неизвестен её возраст – думаю, года три-четыре, судя по зубкам; порода – что-то между болонкой и терьерчиком.

До того, как я её взяла, она жила во дворе в картонном домике, который ей соорудили дети. По счастью, это было лето. Я не могла её тогда приютить из-за Дендика. Потом Линду взяла женщина из соседнего дома, отвезла на дачу. А осенью Линда вернулась беременной. Перед родами женщина выставила Линду на улицу. Она родила под крыльцом. Щенков достали, утопили, а Линду – мокрую, грязную, несчастную, привели ко мне: "Больше некуда." Пришлось оставить.

Первую неделю её рвало, в кухне то и дело приходилось подтирать лужи – не привыкла проситься, живя на улице. Всё время рвалась во двор, где залазила под каждое крыльцо, искала своих щенков. Но главной проблемой было сосуществование с Дендиком. Его жизнь превратилась в муку. Сначала он страшно ревновал, видя, что Линда ест и пьёт из его чашки, что теперь не он один главный в семье, что не всё вкусненькое ему. Потом, в период течки, начались другие страдания. В первую неделю Линда его с негодованием отвергала, и Денди, после очередного наскока, покусанный, скулящий, позорно бежал с поля боя. Но не в его характере было отступать, и он, собрав последние силы, шёл на новый приступ с тем же плачевным результатом. Опасаясь не столько за честь Линды, сколько за шкурку и нервы Дендика, мы стали запирает его в комнате. Там же поставили ему отдельную чашку и миску с водой и едой.

На исходе второй недели запирает уже требовалось Линду, поскольку зов природы просыпался и в ней. Упорная

ли страсть Денди трогала наконец её женское сердце, красота ли и породистость пса привлекали внимание или тоска по утраченным щенкам толкала инстинктивно к продолжению рода, но Линда начинала рваться к нашему пуделю с такою же "нечеловеческой" силой, забыв про его недавнюю жадность, ревность и нанесённые обиды. Наш дом превратился в ад. С одной стороны двери раздавался надрывающий душу скулёж влюблённого рыцаря, с другой – отчаянно призывный лай дамы сердца. Мы чувствовали себя бездушными Монтеки с Капулетти, запрещающими любовь детей.

Может быть, все эти стрессы и вызвали в конце концов инфаркт Дендика, оборвавший его жизнь. Когда это случилось с ним в первый раз – он упал на лестнице, словно споткнулся, и покатился вниз по ступенькам, – я его спасла. Схватила в охапку, притащила в дом, стала делать массаж сердца. "Оставь его, – говорил Давид, – он умирает." Но я была не готова к его смерти, не могла даже в мыслях её допустить. Может быть, это и спасло. Я его растирала, тормошила, всовывала в рот таблетки, брызгала водой, окликала всеми ласковыми именами. Денди начал подавать слабые признаки жизни. А когда я ему сунула в зубы кусок колбаски – повёл носом и окончательно ожил.

Когда это случилось во второй раз – меня не было рядом. Давид пошёл с ним вечером гулять, часов в девять. Дендик радостно побежал, услышав звон поводка, доверчиво подставил шейку. Эта прогулка так и не состоялась. Буквально через минуту Давид вернулся: "Дай какую-нибудь таблетку, Денди умирает." Я ринулась вниз. Дендик лежал, распластанный на площадке 1-го этажа, не дойдя несколько шагов до подъездной двери. Тельце было обмякшим, почти неживым. Я сунула ему в рот таблетку, он послушно её проглотил, но это не помогло. Попытался приподняться на слабеньких лапках, потянувшись на мой голос и – рухнул. И затих навсегда. Всё произошло в считанные мгновения. Все входившие в подъезд и выходившие из него столпились вокруг Дендика. Многие плакали. Это было 8 февраля 2001 года.

На улице мела пурга. Мы положили нашего пёсика в целофановый пакет и понесли хоронить на железнодорожный переезд. Там, где уже был похоронен соседский пудель Грей, умерший от рака. Вместе им будет не так одиноко.

Кто же думал про плохое?
Но восьмого февраля
Ночью тёмною, лихою
Приняла тебя земля.

Снег теперь тебя заносит
И уносит в царство сна.
Милый пёсик, чёрный носик,
Нет тебя теперь у нас.

Стынет кресло без владельца
И диванчик опустел.
Твоё маленькое тельце
Где-то средь небесных тел.

Без тебя скучает дворик.
Слезы катятся из глаз.
Милый Дендик! Бедный Йорик!
Светик крохотный угас.

Обычно моё утро начиналось с того, что Денди подходил к кровати и клал лапку на одеяло. Это было и радостное приветствие, и деликатное напоминание: пора гулять! Кушать, одеваться – в один ошейник или в попонку – смотря по погоде, играть с резиновым зайчиком... Словом, жить.

Это было первое утро без Дендика. И вдруг я сквозь сон почувствовала прикосновение тёплой мягкой лапки. Я похолодела от ужаса, боясь открыть глаза. Ведь я знала, что Денди больше нет. Что за мистика? Или я схожу с ума? Я открыла глаза и увидела Линду. Она, знавшая своё место только в прихожей и на кухне – места проживания были чётко поделены между нею и Дендиком – и никогда не входившая в комнату без зова, вдруг впервые сама вошла, прошла через неё в спальню и, как когда-то Дендик, положила мне свою лапку на сердце. Её глазки глядели серьёзно и грустно. Она, мать своих невыкормленных, недоласканных щенков, понимала меня как никто.

С тех пор прошло два года. Линда у меня прижилась, освоилась, повеселела. Тогда она очень помогла мне справиться с утратой, залечить душевную рану, нанесённую смертью Дендика. Гуляя с ней, я их часто невольно сравниваю. Они совсем непохожи. Дендик был изящный, хрупкий, нежный, как стебелёк. А Линда толстенная, кругленькая, как колобок, как бочоночек с пивом. Денди был аристократ, он ходил только по сухому, аккуратно ступая своими крохотными пальчиками с подстриженными ноготками, осторожно обходя лужи и грязь. А Линда весело и бесшабашно шлёпает по лужам крепкими ножонками с широкими ступнями, не разбирая дороги, любит рыться в мусорных кучах, её не оттащишь от помойки. Денди был тепличное растение, потомок благородных заграничных кровей, победитель собачьих конкурсов, а Линда –

неизвестно чей потомок, дитя улицы и двора. Но я люблю её, кажется, не меньше.

Сны

*Мне сон не снится, я его сню.
М. Цветаева*

"Мой любимый вид общения – потусторонний: сон, – писала Цветаева, – сон, тот воздух, который мне необходим, чтобы дышать. Только во сне я – я. Остальное – случайность."

Может быть, не так категорично, но в какой-то степени я бы могла это отнести и к себе. Сон – это вторая жизнь, где душа, отрешённая от сиюминутности быта, общается с ангелами. Во сне судьба приоткрывает нам свои смутные смыслы, там мы особенно остро чувствуем, что свет и мрак нашей жизни зависят не от чьей-то человеческой, властной и довлеющей силы, но единственно от Безымянного.

И просияет то, что сонно
В себе я чую и таю.
Знак нестираемый, исконный
Узор, придуманный в раю.
(В. Набоков)

Как часто в мои забредают ресницы,
Едва лишь их сон благодатный коснётся,
И робкие звери, и малые птицы,
И голые луны, и алые солнца.
(В. Блаженный)

Я не люблю вас, люди, люди
Из серокаменных домов!
Вы не участвуете в чуде
Пророчества и вещей снов.
(В. Ходасевич)

Во сне в полной мере проявляется наша сущность. Днём человеческое бытие искажено случайностями реальной жизни, истинное лицо скрыто за цивилизованной маской. Мы давно не дети: наши слова обдуманно, поступки – взвешены, шаги – просчитаны наперёд

И лишь в ночном бреду свершает дух наш вольный
Любой желанный шаг, и дикий и крамольный:
И мы в слезах летим в сладчайшие объятья,
И мы кому-то шлём безумные проклятья,
И с кем-то рвём навек, кому-то гладим руку,
И поверяем всю тоску свою и муку,

Волнуясь и спеша. До мига пробужденья
Диктуют волю нам порывы, побужденья.

(Л. Миллер)

Порой какой-нибудь невразумительный сон бросит туманный и косноязычный намёк на возможность инобытия, заставит всерьёз задуматься над тем, во что ты "в трезвом неподкупном свете дня", в здравом рассудке и памяти ни за что не поверишь. А вот Цветаева – богохульница и грешница – верила. Не верила – "знала из опыта." В письме к Пастернаку, разделяя мир на "тот свет" и "этот", она признавалась: "Борис! Борис! Как я знаю тот! По снам, по воздуху снов, по разгроможденности, по насущности снов."

А как изумительно и точно – если тут уместно это слово – определила сущность сна Татьяна Толстая в рассказе "Петерс": "Сон приходил, приглашал в свои лазы и коридоры, назначал встречи на потайных лестницах, запирали двери и перестраивал знакомые дома, пугая чуланами, бабами, чумными бубонами, черными бубнами, быстро вёл по тёмным переходам и вталкивал в душную комнату, где за столом, лохматый и усмехающийся, сидел, крутя пальцами, знаток многих нехороших вещей".

...Однажды я проснулась ночью от ощущения какого-то страха. Может быть, мне что-то снилось, но я ничего не помнила, только это ощущение пещерного ужаса, которого я никогда не испытывала в жизни. Кажется, меня разбудил вой собаки. Но в ту минуту, когда я проснулась, было тихо. Я лежала, спелёнутая простыней; так во сне замotalась в неё, что не могла пошевелиться, как в коконе, вся в липком поту – не от жары, а от страха. Я не понимала причины этого страха, это было что-то генетическое, вековое, древнее, доисторическое, жуткое. От плотно задёрнутых штор в комнате стоял мрак, и только на стене напротив на часах светился отблеск фонаря, похожий на волчий глаз. Этот зловещий глаз не сводил с меня своего мутного взгляда. В голове уже прояснилось настолько, чтобы понять, что всё это сон, бред, но страх не проходил. Не было чувства облегчения, как обычно – слава богу, это только сон – было какое-то другое, непонятное чувство – страха пробуждения. Это было предчувствием, что наяву меня ждёт что-то ещё более страшное, что будет ещё страшнее. И некуда спрятаться, нигде нет спасенья. Как это у Ходасевича?..

Прервутся сны, что душу душат,
Начнётся всё, чего хочу.
И солнце ангелы потушат,
Как утром – лишнюю свечу.

...Ещё один сон – очень странный. Будто я знаю, что меня сейчас должны убить. Но все делают вид, что это игра,

понарошку, шутка, якобы не знают, что это будет на самом деле. Но втайне знают. И украдкой утирают слезы, отводят глаза. Как бы не могут этого предотвратить: то ли бояться, то ли бессильны. Кто-то заплетает мне косичку (я вроде как подросток, мне очень часто во сне 13-15 лет). Играют со мной, шутят. А я тоже вроде не знаю, что меня ждёт. Поддерживаю эту игру. А сама втайне от всех знаю. Кто убьёт, как – мне это словно и неинтересно. Знаю, что я обречена, что уже скоро. И вот что поразительно – мне это ничуть не страшно и даже весело. Забавляет, что они не знают, что я всё знаю.

Такого ещё у меня во сне никогда не было. Обычно опасность, близость смерти пугала, просыпалась в холодном поту. А тут – тоже проснулась, и с ощущением сердца. Не то, чтобы болело, но я его очень чувствовала. Но мне было всё равно, что я умру. Даже весело. Что это значит? Я не боюсь смерти?

...Под утро приснилось: будто я уже не сплю и слышу, как в соседней комнате кто-то шаркает ногами. Будто бы бабушка. С ужасом вспоминаю, что бабушки давно нет. Значит, приснилось, с облегчением думаю я. И рассказываю (во сне) об этом Давиду. А он говорит: "Нет, не приснилось, я тоже слышу шаги". Я напрягаю слух: шаги всё громче, отчётливей, всё несомненной. Но ведь ходить некому?!.. Минута дикого ужаса. Я вся оледенела, застыла в комок от страха. Последняя спасительная мысль: может быть... Линда? Потом вдруг в спальне появляется Линда, вся мокрая. За ней – группа каких-то людей. Что-то, значит, произошло из ряда вон, – соображаю я. Хватаю её на руки, прижимаю, пытаюсь согреть, осушить. И тут просыпаюсь. Иду в кухню. Давид уже там, бреется. Время – десять часов. Так поздно я ещё не вставала. С упрёком ему пеняю: "Ты что меня бросил на произвол сна!" Рассказываю. Давид говорит: "Сон в руку. Линда написала." В кухне действительно лужа. Линда, вместо того, чтобы виновато свернуться в клубок, нагло растянулась во всю ширь и бьёт хвостом по полу, как молотилка. Демонстрирует хорошее настроение.

...Давиду приснился сон, что он с кем-то дерётся. Чувствую – кто-то меня ногой в бок пинает. Растолкала, – ты чего?! – Ой, извиняюсь, – смутился он спросонья. – А мне снится: как удачно я его ногой подцепил. Только собирался дать в морду...

– Вот ещё не хватало! С тобой опасно спать. Вовремя разбудила.

"Как странно явь господствует над снами..." Заметила: Давиду редко что снится, но если снится, то всегда что-то конкретное, что-то неприятное, нервное. Если ругается во сне

– то вслух, если дерётся – то тоже почти на самом деле. Где-то в мозгу нарушена граница между сном и реальностью.

Никогда ничто ему не снится:
На глаза всё тот же лезет мир,
Нестерпимо скучный, как больница,
Как пиджак, заношенный до дыр.

(В. Ходасевич)

...Ночью во сне сочинился стих:

Меня бросает в жар и в холод,
Читатель ждёт уж рифмы: молод.
Но не получит он её.
Огнями высвеченный город
В ночное впал небытие.
(То ли "в ночное канул забытьё").

Прочитала его сквозь сон Давиду. Он тоже сквозь сон посоветовал: пусть этот стих тоже туда канет. В забытьё. Поначалу мне понравилась тут строчка "но не получит он её." Но потом подумала, что со времён Пушкина многое изменилось, и нынешний читатель уже давно ничего не ждёт.

Кстати, Заболоцкий некоторые свои строки сочинял во сне. Бывали случаи, когда он, проснувшись среди ночи, записывал строку стихотворения и снова засыпал. Так были написаны "Фигуры сна", "Бегство в Египет", "Можжевельовый куст", "Сон", где он описывает потустороннее существование человека. Заболоцкий говорил: "Во сне удивительная чистота и свежесть чувств. Самая острая грусть и самая сильная влюблённость переживаются во сне."

Я сон потерял, а живу, как во сне,
Всё музыка дальняя слышится мне...

(В. Ходасевич)

...Ещё один сон, приснившийся мне под Новый год. У меня в руках – продуктовый паёк, он же – мешок подарков от деда Мороза. Разворачиваю, а там: орехи, семечки крупные, ещё что-то вкусное. И вдруг рядом – отец, и я с такой радостью его всем этим угощаю. И он не растворяется, не исчезает куда-то, как всегда в подобных снах, а с удовольствием берёт. И такая радость. А рядом – чуть в тени – брат. (Наполовину – Давид. Но всё-таки больше – брат.) Но он ещё как-то в стороне, немного скован. Но чувствуется, что всё будет у нас хорошо. Такой хороший, тёплый сон, так редко такие бывают. Обычно мучительные, терзающие по пробуждении.

Всё дальше, слабее их отзвук и свет, –
Родные, любимые, давние лица.

А сны всё не знают, что их уже нет,
Лишь сны не хотят и не могут смириться.

И там, продираясь сквозь толщу и тьму,
Лелею тот миг окончания бегства,
Когда догоню, припаду, обниму,
"Ну вот , наконец-то, – скажу, – наконец-то!"

...Давно уже видела сон, который всё не могу забыть. Отец. Я так рада, что вижу его, так ценю каждый миг с ним, прижимаюсь, заглядываю в глаза, чего в жизни никогда не было. Он молчит и вдруг спрашивает, всё понимая, что со мной: "Что, тяжело?" – как бы даже с сочувствием, но с пониманием непреложности и как бы заслуженности этой тяжести. Я молча киваю. Спрашиваю: "Ты там что-нибудь чувствуешь?" Он пожимает плечами: "Нет..." А потом какая-то комната, и вроде мы все вместе там: я, он, Стасик, – их нет, но я чувствую, что они здесь где-то, рядом. И – занавески накрахмаленные, которые раздувает ветер. И такой покой, такая тихая радость вокруг.

Господи, вот он, покой, –
Мысли густые, кисельные...
Вот он, выходит, какой
Дом, занавески кисейные.

(И. Кабыш)

Это были мгновения жизни, словно показанные мне Богом: вот чего ты сама себя лишила, что могло бы быть у тебя: отец, брат, радость и защищённость родства...

Вспомнилась цветаевская поэма "Попытка комнаты." Она возникла у неё в ответ на вопрос Рильке: какой будет комната, где они встретятся? Это была попытка описать место встречи поэтов – комнаты, которая может существовать лишь в воображении поэта как идея (попытка). Пытаясь представить место свидания, о котором мечтала, Цветаева неожиданно для самой себя обнаруживает в поэме, что оно не состоится, что ему нет места в реальности.

Всё вырастет, не ладь, не строй,
Под вывеской – сказать, какой? –
Взаимности. Лесная глушь.
Гостиница Свиданье Душ.

Свиданье душ возможно лишь в "Психеином Дворце", в потустороннем мире, "на тем свету"...

Друг, гляди! Как в письме, как в сне том –
Это я на тебя – просветом!
В первом сне, когда веки спустишь –
Это я на тебя предчувствьем
Света. В крайнюю точку срока –
Это я – световое око.

Действие происходит во сне, возможно, в кошмаре; это странная поэма, пронизанная тревогой и страхом. Героиня кого-то ждёт – сначала это должен был быть Пастернак, потом она изменила адресата, им стал Рильке.

Всеми – теми, кому и кол
Не препятствие ночью майской!
Три стены, потолок и пол.
Всё, как будто? Теперь – являйся!
Оповестит ли ставнею?
Комната наспех составлена.
Белесоватым по серу –
В черновике набросана.
Не штукатур, не кровельщик –
Сон. На путях беспроводных—
Страж. В пропастях под веками –
Некий, нашедший некую.

Стены, пол, мебель, сам дом превращаются в нечто неосоздаемое. Потолок – световое око неба, пол – зелёная брешь земли. Между ними – пустота. И в этой пустоте герои становятся бесплотными. Встреча, которая происходит во сне, которая на земле невозможна.

У Ирины Снеговой есть такие строки:

Приснился бы! Хоть мельком! В кой-то раз!
Как странно явь господствует над снами,
Что снятся нам обидевшие нас,
И никогда – обиженные нами.

У меня – всё наоборот. Там, во сне, я говорю им всё то, что теперь, наяву, говорить уже некому и поздно. Ночью сердце словно мстит за то, что заковываешь его в тиски днём, сны мстят за всяческую дневную растрату. Расправа за растрату. Растрата.

Идут года, бегут недели,
Но ты теперь, как ни зови –
Потусторонен, запределен,
Недосыгаем для любви.

И лишь во сне всё как по правде,
Лишь там нельзя тебя убить.
Там можно всё ещё поправить,
И досказать, и долюбить.

Там светом радуги играет
То, что уже покрыто мглой,
Горит и вечно не сгорает –
Что стало пеплом и золой.

...Снова приснился отец. Смутно помню кого-то ещё рядом – Тамара, Давид... Потом они куда-то отодвинулись, и – его фигура. Такая узнаваемая, родная. Его плечо и рука. Рукав пиджака, чуть блестящего от подпалин утюга и от времени, в который я уткнулась. Умом я понимала, что его нет, что он умер. И чувствовала ледяной холод его руки сквозь пиджак. Подумалось почти спокойно: ну да... Конечно... Он же мёртвый. Но это не пугало. И как-то не мешало ощущать его живым. Пусть мёртвый, но главное, я чувствовала, что он слышит, видит, понимает меня. Пусть это на какой-то миг, сейчас он уйдёт, растворится, но вот эта минута – она была моя... Наша. Я прижалась губами к рукаву и повторяла как заведённая, словно в бреду, что-то во мне повторяло: "Знал бы ты, как я тебя люблю... Знал бы ты, как я тебя люблю..." Как закливание, как молитву. И вдруг его рука словно в ответ чуть-чуть дрогнула, слегка согнулась. Я мгновенно почувствовала, во мне сразу отозвалось: это ответ, это знак, что он слышит меня. Это было как слабое прощение. И это было – счастье.

Я проснулась от шёпота своих губ: "Знал бы ты, как я тебя люблю..." Я это произносила вслух. Давид спал, не слышал. Я зажмурила глаза, силясь вернуть сон, зная уже, что не верну. Но так хотелось сохранить, сберечь ту минуту.

Антропософия утверждала, что во время сна мы встречаем друг друга "по-настоящему", в то время как днём можем ещё замыкаться, утаивать наши мотивы, что-то симулировать в чувствах. Но ночью мы – открытая книга. "Сон – это жизнь, которую явь не стреножит", – как пишет П. Шаров.

У Цветаевой есть потрясающее стихотворение "Сон", которое я хочу привести полностью:

Врылась, забылась – и вот как с тысяче-
Футовой лестницы без перил,
С хищностью следователя и сыщика
Все мои тайны – сон перерыл.

Сопки – казалось бы, прочно замерли –
Не доверяйте смертям страстей!
Зорко – как следователь по камере
Сердца – расхаживает Морфей.

Вы! Собирательное убожество,
Не обрывающееся с крыш!
Знали бы, как, на перинах лёжачи,
Преображаешься и паришь!

Рухаешь! Как скорлупою треснувшей –
Жизнь с её грузом мужей и жён.
Зорко – как лётчик над вражьей местностью
Спящею – над душою сон.

Тело, что все свои двери заперло –
Тщетно! – уж ядра поют вдоль жил,
С точностью сбирра и оператора
Все мои раны – сон перерыл!

Вскрыта! Ни щёлки в райке, под куполом,
Где бы укрыться от вещей глаз
Собственных. Духовником подкупленным
Все мои тайны – сон перетряс!

Сон как созерцание с высоты духовной
действительности, решение загадок жизни, перетрясение всех
тайн человека – так его видела Цветаева. ...

То, что я сейчас пишу – не рассказ. Это послание. Я
пишу это тебе, отец. Неведомо как, но мне верится, знается,
что ты прочтёшь. Я пишу его в ответ. Помнишь? Это было
через два года после твоей смерти, 1 мая. Я вышла на балкон
ночью, словно кто-то позвал меня туда. Эта звезда
выделялась из всех. Она мигала, пульсировала. Я сразу
поняла, что это ты.

– Завтра твой день рождения. Я знаю, помню, приду, –
говорила я тебе мысленно. Я была уверена, что ты слышишь.

В эту ночь я увидела тебя во сне. И такая нежность
была, словно за всю жизнь, за все дни, что я её в себе не
замечала, не пускала в себя. Проснулась – ничего не помню,
только нежность. Тяжесть и нежность, как у Мандельштама.
Не хотелось просыпаться. Боль потери – всё это будет потом.
А тогда, в полусне – тяжёлая нежность. Я видела всю твою
жизнь. Каким ты был маленьким мальчиком. Все твои обиды,
победы, поражения, надежды. Всё, чего не знала, чего ты
никогда не рассказывал, я видела внутренним зрением. И
любила так нежно, пронзительно. Сколько упущено дней!
Теперь я знала, как буду тебя любить, как буду заботиться,
доставлять радость. Какое это было бы счастье.

На небе полночном горят письма.
Я в смутной тревоге гляжу из окна.
Пытаюсь прочесть это, как в полусне...
Я знаю, что это написано мне.

Пulsирует небо мне звёздной строкой.
В ответ – неуверенный взмах мой рукой.
И слезы глаза застилают, слепя:
Я знаю, я помню, я вижу тебя!

Гений

*Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон...*
А.С. Пушкин

Поздно вечером у нас раздался звонок. Звонил лоточник Алексей, с которым Давид когда-то сотрудничал в недавнем книгоиздательском прошлом. Пьяным заплетающимся голосом он пытался спросить у Давида о Павле Шарове, который работал у них грузчиком, – действительно ли тот гений? С третьей попытки ему это удалось. Давид слегка удивился неуместности вопроса, но подтвердил факт одарённости юноши. Алексей удовлетворённо повесил трубку. Примерно через полчаса снова звонок и – ещё более заплетающимся языком – тот же сакраментальный вопрос: так гений или не гений?

– Гений, гений, – раздражённо ответил муж.

– А... Эт-то, что, у в-вас уст-танавливают? – озадаченно уточнил лоточник.

– У нас. Если ещё насчёт кого надо будет выяснить – звоните.

Через час снова звонок с тем же вопросом.

– А в чём, собственно, дело? – спросил Давид. – Почему это вас так волнует?

– А то! Он грузчик, ему работать надо, а он тут уверяет, что он гений. И всё норовит стихи свои читать.

Откуда-то из недр подсобки послышался оправдывающийся голос Пашки:

– Я не гений. Я просто пишу стихи...

– Паша! – закричала я в отводную трубку. – Немедленно прекрати пить! Иди спать. Попроси, чтоб тебя там где-нибудь положили. Зачем ты здесь вообще?!

– Наталья Максимовна, я не по своей вине, не по своей воле... Хотите, я Вам стихотворение прочту?

– Ты что, охуел? – раздался чей-то голос. – Телефон мобильный.

– Вот тут говорят, что я охуел, – извиняющимся тоном сказал поэт.

– Иди спать! – рявкнула я. Связь оборвалась.

Видимо, он что-то не так понял, ибо в двенадцать часов ночи раздался звонок – на этот раз в дверь. Вдрабадан пьяный гений, еле держащийся на ногах, весь мокрый (шёл дождь) и грязный (падал по дороге), робко промолвил: "Положите меня где-нибудь, пожалуйста..." В памяти всплыли строчки Л. Губанова, которого он нам принёс недавно:

Прошлое! Пусти меня, пожалуйста, на ночь!
Это я бьюсь бронзовой головой в твои морозные ставни.
И закрой меня на ключ, от будущего напрочь,
Умоляй, упрощай, может, лучше станет...
Прошлое! Я просто пришёл погреться!

Ну как не пустишь? Правда, "положить", то бишь уложить Орфея нам с Давидом удалось не сразу. Пашка всё пытался высвободить гитару из чехла и спеть свою новую песню. И не успокоился, пока не спел.

– Нравится?

– Нам-то – да. Но вот соседям...(Было уже полпервого ночи). Упав ещё пару раз (на кухне – головой об раковину и в комнате – с дивана), он, наконец, отрубился, попросив поставить будильник на шесть утра.

Я вдрабадан, как таксист, после дня за баранкой,
Пьян августовскою ночью. А утром – вставай!
Ноги в ботинки, и шаркай, обляянный шавкой,
Не опоздать бы – в 6.30 – на первый трамвай...

На рассвете будильник разбудил всех, кроме Пашки. После моего бужения, сначала деликатного – словом, потом более активного – трясением за плечо, гений наконец продрал глаза. Первое, что он вспомнил из вчерашнего – это свою песню, которую он снова попытался спеть. За завтраком похвалил мой форшмак, сказав про него: "вкусное мясо", от манной каши отказался, выхватив у меня молоко и одним махом его выпив, (оставив нас тем самым без каши), после чего, наконец, ушёл. А мы отправились досыпать.

Я снова достаю папку с его стихами и с тайным сомнением перечитываю знакомые строки – а ну как ошиблась, преувеличиваю, раздуваю мыльный пузырь? "Вдруг вся песня, в общем-то, мелка? Вдруг в ней всё ничтожно будет, кроме этого мучительного, с кровью: "граждане, послушайте меня!" – как писал Евтушенко?

Не спится, не спится, бессонное ложе
Моё одиноко, тоской изойду
(за рамой так ветрено и непогоже).
В оконном проёме, у всех на виду,

Я встану – и, дабы продлить песнопенье,
С наивной надеждой на шаткий успех
Я горько воскликну: помедли, мгновенье!
Хочу я пропеть эту песню для всех.

И чем дальше читаю, тем больше растёт и крепнет внутри знобящее, праздничное ощущение причастности к настоящему, подлинному. Нет, не ошиблась. Поэт. Поэт в каждой строчке. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Я не просто слышу, я чую нутром этот Хаос, в котором
Рождается музыка, я разбираю одну тональность –

– и песни мои в соль-миноре.

Я лечу в неизвестность на бешеном скором

Поезде жизни (читай – на каталке в прозекторском коридоре).

Да, стихи его звучат в основном в этой тональности, что многим не по вкусу. В них много того, что раздражает бодряков-оптимистов, шокирует ханжей и коробит чистоплюев. Жесткие, резкие, совсем не поэтические слова, вряд ли они ублажат чей-то слух. Есть категория читателей, которые хотят, чтоб им "сделали красиво", которые ищут во всём гармонию. Им будет неуютно в стихах Шарова. Но в поэзии, как и в жизни, есть вещи поважнее красоты. В этих стихах есть правда. Беспощадная правда.

Рифма банальна, как жизнь и как смерть.
Кто это выдумал – небо и твердь?!
Нет ничего – только вечность.
Чёрные дыры. Ничто и Нигде.
И не дано ни единой звезде
От темноты уберечь нас.

Вечная ночь, где отсутствует свет.
Вечная правда, где есть только "нет" –
Самое страшное слово.
Время, Пространство – всё в точке одной,
Это наш мир, никакой не иной –
Нету на свете иного...

Восхищает свобода самовыражения. Он не думает, о чём будет писать, не вынашивает замыслов, не "высиживает" стихов. Просто поёт, как птица. Что видит, то поёт. У него нет бездумности и поверхностности акына, осмысленность и глубина присутствует в каждом стихе, но при этом какая органика, лёгкость дыхания, естественность тона! Поэзия – из ничего, из воздуха. Жизнь как она есть.

Солнце уходит на запад.
Гари бензиновый запах
Ослабеваеt под вечер.
Мокрым своим языком
Дождь полусонно лепечет,
Только не знает, о ком.
Прямо младенец. На крыши
Мокро-блестящие – рыжий
Падает отблеск зари.
Включатся после заката,
Как на шинели солдата
Пуговицы, фонари.
Как разгадать этот ребус:
Едет куда-то троллейбус –
Дуги свободно повисли.
Это, наверное, сон.
Я не забочусь о смысле,
Просто пою в унисон
Дождю. И, засыпая,
Вижу, как искры трамвая
(сей электрический конь
Бойко бежит своим рейсом)
Сыплот на мокрые рельсы
Точно бенгальский огонь.
Пригород. Царство окраин.
Выйдешь один, неприкаян,
И, отсыревшие спички
Вынув (ох, пагубна власть
Этой дурацкой привычки),
Чиркнешь, затянешься властью.

Он – частица этого мира, он неотделим от своего времени. Можно сказать, герой этого времени, которое отражает, как в себе ощущает – предельно честно и адекватно.

Время зажато в клещах темноты.
Я полночник и с ночью на ты!
Щерится звёздным оскалом
Жуткая бездна, и пёс на цепи
Брешет на ветер руками сцепив
Голову с тусклым накалом
Мысли, я жду, что захлопнется пасть
Хроноса, ибо ложится не в масть
Карта грядущего. Ибо
В мире, как прежде, горланят: "Распни!",
Души людей – обгорелые пни,
Правят верёвка и дыба.
Господи Боже! Бетонный подъезд –
Гробом. Увы, не под силу мне крест.
Злобный, бесчувственный идол
Янус двуликий – холодный январь –

Взор отвращает. Гляжу в календарь:
Кто меня времени выдал?!

Он – плоть от плоти этого города, где родился и вырос.
Мы привыкли воспринимать патриотическую лирику вне отрыва от деревенских полей, лугов и берёзок. Шаров – урбанист. Герой его стихов – город. И это не тот благолепный Саратов, знакомый нам по подарочным открыткам и песням местных композиторов. Это жестокий город-монстр, город-призрак, во многом незнакомый и пугающий, город, увиденный глазами поэта:

Увы, я родился не в сельской избе,
Но в городе – в гадком роддоме.
Так было угодно нелепой судьбе.
И нечего, кроме
Асфальта, бетона и сутолки дня,
Мне вспомнить. Однако,
Хотя любви к городу нет у меня,
Привязан к нему, как собака.
В трамвае, меняя чело на мурло,
А имя – на номер талона,
Трясусь я и вижу: от дыма свело
Черты небосклона.
И кажется мне, будто рельсы вот-вот
Сойдутся, пороча Эвклида,
И в ужасе я, столбенея как Лот,
Увижу, как в царство Аида
Обрушился мир...

* * *

Мир неподсуден и жесток.
Вон солнца огненный желток
Через трубу соседней кровли
Перевалил, слепя глаза, –
То день, застрявший костью в горле,
Не хочет жать на тормоза!

Он сразу же берёт в полон,
И Время мчится под уклон
На бешеном автомобиле...

* * *

Пронесятся "хонды", "ниссаны", "тойоты" –
Летят, как акулы, вдоль рифов-обочин.
Я знаю, душа человека ни йоты
Не стоит в наш век, что цинизмом источен!
Вот ночь навалилась. И сердце всё чаще
Колотится в рёбра. Как воздуху мало!
Здесь города джунгли, и в каменной чаще
Кипит вакханалия лжекарнавала!

Его поэзия тревожна. В ней – слом эпохи и жёсткость времени. Рваный пульс, аритмия, асфиксия, режущие ухо диссонансы – без этого наша эпоха плохо представима. Поэт, как сейсмограф, чутко ощущает все её подземные толчки и катаклизмы.

Город асфальтово-потный, в сизо-бензиновой мгле,
Бредит о ливне кислотном, как наркоман об игле!
Липкую сажу природа больше не в силах глотать.
Вот изменилась погода: дождь начинает блевать.
О наслажденье обманом! На поражённой земле
Все мы теперь наркоманы, все мы сидим на игле!

* * *

Шприц телебашни. Неба мякоть.
Инъекция радиоволн.
Готов бежать от мира я хоть
Куда (о, мне б только вон!)

Но куда убежишь от всего этого?! Как от себя – никуда.

Безлюден проспект, где людей муравейник
Кишит день-деньской (только тьма его стёрла).
Я собственной тени безропотный пленник,
Ночную тревогой набитый по горло.

* * *

...Город призрачен и в потёмках жуток.
Лунный в облаке на ущербе серп.
Неподсуден мир – это кроме шуток! –
Хоть и страшен он, и жестокосерд.

...Город призраков, город монстров –
Как хрипит он в петле погостов!

Дистанция между лирическим героем и автором минимальна, можно сказать, её нет вообще. И это подкупает. Блок говорил: "Чем человек талантливей, тем полнее судьба его отражена в его стихах." В стихах Шарова я чувствую его судьбу, узнаю его жизнь до мельчайших подробностей, не только душевный мир, но и его быт, тот самый "стопудовый земной быт", который пожирал бытиё Цветаевой, и у Шарова он не менее ужасен, с его продавленным матрасом в "полутёмном, слепом углу", с урчащим пустым холодильником, когда луна в окне кажется "глазуньей на сковородке неба", и многим таким, в чём не принято, но в чём он не боится бесстрашно признаваться.

...Ну, чего тебе надо, запойная юность?!
Ты прошла, не оставив рубля – похмелиться нечем.
А сестра моя жизнь под забором очнулась, –
Тишина, да такая, что слышно, как колет печень.

Ну а небо, как ни банально, синее-синее – аж до рези.
И палата с решёткой мне светит не красным и даже не жёлтым –
Светит давно зелёным, потому что я креси,
Потому что мне самое место в домике жёлтом...

* * *

... Зимой Кузьмой, а летом – Филаретом
Зовут меня, поскольку я с приветом
Пришёл в сей мир сказать, что солнца диск
Разбился вдрызг!

Ах, вовсе не в божественной нирване –

Я был зачат папашею по пьяни.
Кому-то Сирии – фраер и прохвост, –
Мне Алконост

Поёт: "Ты человек второго сорта,
Уж лучше б стал ты жертвою аборта!"
Я посетил общественный сортир –
Юдольный мир.

Во всём я поступаю против правил,
Сейчас вот пью, когда-то наркоманил.
Блестит мне сквозь туман кремнистый путь –
А толку чуть!

Он, как огня, боится пафоса, неверной, выпрерной ноты. У него обострённое чутьё на фальшь, благостность, ему нравится разбить близорукому прекраснотушию розовые очки. Поразительно стихотворение об ангеле, который явился людям средь бела дня в самом центре города, –

Где Проспект упирается в "Липки" и церковь,
А напротив готика – шпили "консервы"
И фланируют молодые стервы, –
В сердце города, в уличном шуме, гуде,
Где в упор не видят друг друга люди...–

а его никто не заметил, поглощённый своими делами и заботами, никто в него не поверил, не обрадовался, настолько это неуместно в нашей сегодняшней жизни.

Этот ангел благой – что в его молитве?
Да и сам я, думая о пол-литре,
Очи долу потупил, сочтя за признак
Сумасшествия – ангела в светлых ризах.

Шаров не рядится в тогу романтического героя. Дитя городских окраин, обитатель хрущёвки, завсегдаятай шалманов, выкормыш глухих дворов и ночных подворотен, он знает жизнь не с парадной стороны.

Кто сказал, что я безумец, что лишился я ума?
Я дитя полночных улиц, где нет света, только тьма,
Где горит лишь мой окурочок – полуночный светлячок.
Кто сказал, что я придурок, кто сказал, что дурачок?

Почему-то верится, что после подобных строк сказать
сие никто не решится. А вот он – может, и не такое:

"Счастье обрящем
В вечном покое."
Вечно быть спящим?!
Да за такое
Йоты не дам.
Эй, идиоты!
Это я вам!

Вызов. Вызов тем, чья душа в сытом покое, кто
проносится мимо в "ниссанах" и "тойотах", отдавая его
грязью, всему этому "внешнему миру", что "скалит зубы и с
наглой миной ни во что не вменяет божественный голос лир."

...А я, прозябая, бычкую сигарку
И жду я трамвая, а не иномарку.

* * *

...Выходишь в предвечерний сумрак,
Закат берёт на ржавых струнах
Души растерянный аккорд,
И прячешь от пощёчин ветра
Лицо (оно само есть "ретро"
Средь новомодных рыл и морд.)

"Каждый выбирает для себя, – писал Ю. Левитанский, –
женщину, религию, дорогу." Шаров сделал свой выбор, кем
быть в этом мире."И вот тогда мне стало страшно, –
признался он как-то нам с Давидом. – Ведь, как сказал Борис
Рыжий, "не заработаешь на этом и цветов не купишь
никому." Но у него другая точка отсчёта, другая система
координат, иная шкала ценностей, непонятная новым
хозяевам жизни.

Талант – тот фундамент, который в ломбард
Увы, не заложить. При помощи карт
Не спустишь. Он требует крыши
И стен. Но при этом, считая их вес
За собственный, он от излишних словес,
Ему же дарованных свыше,
Так может осесть, что похерит певца
Его же оружием: начало конца
Находится точно в прицеле
Системы, лежащей от координат

Декарта настолько, что лишь наугад
Бредя, доберешься до цели.

Он бредёт наугад, ориентируясь по своему
внутреннему душевному компасу, движимый чутьём поэта.

Монетой солнце золотое
Скатилось в кошелёк небес,
Платив за день такой ценою,
Но просчиталось: день исчез!
...и вновь на ярмарке вселенной,
По кругу – миллионы лет –
Оно монетой неразменной
Платило за бесценный свет.

* * *

...Ах, времени не скажешь: "Чуть помедли..."
Знать не хочу – век долгод будет, нет ли.
Не выкипела кровь пока из жил.
Но я б хотел, как в волосы – репейник,
Вцепиться в жизнь (плевать, что нету денег!),
Постигнуть скрытый ход её пружин.

* * *

...А деньги где?! Их не было и нет!
С моею жизнью их вражда непримирима!
Уже на протяжении многих лет
Они всё время проплывают мимо.
Могу служить – ну нету ни гроша! –
Безденежья классическим примером.
Но если б денег стоила душа –
Я был бы уж давно миллионером!

* * *

...Аукнутся в потомках
Мечты людей о том, как
Остаться в барыше.
А я, как древний замок,
Рвом окружённый, замкнут
На собственной душе.
Готовлюсь я к осаде.
Психея! Бога ради,
Не оставляй меня.

Не оставляй его, Боже. И хочется сказать ему его же
словами:

В этой жизни, игре без правил,
Ты корявые строчки правил.
Дай же Бог, чтобы ты оттаял
Сердцем. Ибо, лишь звук ко звуку
Подбирая, земную муку

Отгоняешь. как злую муху.
...Ну, а пока это варево ночи
Пей по глотку, не спеша,
Чтобы не очень, чтобы не очень
Твоя цепенела душа.

И мне тоже верится, как и ему,

Что в механизме извилин все ржавые мысли
Сменит Господь-часовщик (он при лупе-луне).

Как-то после одной из лекций я получила письмо от моей постоянной слушательницы. Она писала: *"Милая Наталья Максимовна, как это Вы с такой чистой светлой душой, с такими дивными, светлыми стихами, – как это Вас хватает на искреннее восхищение и любовь ко всем, всем им – со всеми их вывертами, к бродягам и пропойцам..."* Я вспомнила героев своих вечеров, которые могли навести её на такие размышления: Франсуа Вийон, Поль Верлен, Артюр Рембо, Борис Поплавский, Николай Рубцов... Да, не ангелы. И жизнь их – далеко не образец для подражания. Но я преклоняюсь перед талантом в любом его обличии, ибо важен не сосуд, как считал Заболоцкий, не его форма и чистота, а огонь, в нём мерцающий. У меня есть стихотворение о поэте Сергее Чудакове, прожившем отнюдь не праведную жизнь, но стихи которого меня поразили. Я даже сочла нужным подготовить о нём лекцию, которую назвала: "Никому не известный гений", и которую начала вот с таких посвящённых ему строк:

Алкаш, библиотечный вор,
Мошенник – поискать по свету,
Наркоделец и сутенёр,
Но был он гением при этом.

И хоть прошёл за кругом круг
Этапы жизни самой скотской, –
Его воспел великий друг
И антипод Иосиф Бродский.

Знарок культуры мировой,
Тусовок светских завсегдатай...
Но не осталось от него
Ни фото, ни последней даты.

Один литературовед
Собрал, что было, по крупичам:
Пивнушка... В ёлочках паркет...
Тюрьма... Психушка... Царство шприца...

Его бесцветное пальто,
Плывущее куда-то в Лету...
Его стихов не знал никто.
И всё-таки он был поэтом!

Не положительный герой?
Капризна Муза, как и слава.
В её избранниках порой
Не Иисусы, а Вараввы.

Она не отвергает дно,
Не презирает низких истин
И всё прощает за одно:
Талант, когда он бескорыстен.

...Читаю Чудакова я
И строк постыдных не смываю...
Теперь лишь Бог ему судья.
Литература мировая.

Чудаков был истинным юродом, соединявшим в себе плутовство, талант и сумасшествие. Он сам вывел формулу своей жизни:

Ампула сутенёра,
Продолжение отбора,
Положение актёра
На подмостках позора.

Но с Музой он был безупречней, чем с людьми. Муза, как и слава, часто благосклонна не к путёвым и политически грамотным, а к обитателям социального дна. Её не смущают в избранниках ни бомжовые привычки, ни пьянство, ни пороки, ни посещение публичных домов. Дух дышит, где хочет. Даже там, где, казалось бы, дышать нельзя.

В чём-то символично, что познакомил нас с Павлом Шаровым именно Чудаков. Это было на поэтическом вечере в "Камелоте", где я прочла это своё стихотворение. Не сомневаясь, что публике об этом поэте ничего не известно – ни одной строки его не было опубликовано, я вскользь упомянула о стихе Бродского, посвящённом ему – таком, кстати, сложном по лексике и синтаксису, что я, сколько ни учила его, не могла запомнить. И вдруг слышу из-за соседнего столика: "Ну почему же, знаем:

Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон,
Тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно..."

Я просто потеряла дар речи. "Как кошмарно они начитанны, как отталкивающе грустны..." – вспомнилась песня Вероники Долиной о "советских сумасшедших". А этот

худенький лохматый очкарик, брызжащий интеллектом, продолжал шпарить наизусть – Бродского, Ходасевича, Мандельштама, сражая очередного выступавшего пиита каким-нибудь метким замечанием, точной к месту цитатой, убийственной репликой. "Блистательный Шаров", как называл его ведущий вечера поэт Игорь Алексеев, он меня сразу заинтересовал, огорошил, но не понравился поначалу – шла от него какая-то агрессия, негатив, дисгармония, от чего душе хотелось инстинктивно отгородиться. Но когда он начал читать... Всё это стало уже не важно. Стихи победили инстинкт самосохранения. Они были сильнее. Он читал – как хлестал – наотмашь, под дых, в самое сердце.

Твой каждый стих – как чаша с ядом,
Как жизнь, спалённая грехом.
И я дышу, хоть и не надо,
Нельзя дышать твоим стихом,

– писал Тарковский. Вот и я дышала. Его стихи были – как соль на раны, но это было целебней иного бальзама на душу.

О верхний – запредельный – ярус
Небес! По лестнице какой
Взойти?.. Не алый – чёрный парус
На мачте времени. Рекой –
Вся в язвах от мазута, нефти –
Плывём, верней – плывём трубой
Канализационной. Негде
И нечем жить, дышать. "Отбой"
Пора трубить – да нет горниста,
Горниста-ангела, чтоб чисто
Взял ноту – верхний ре-диез
Болезненный, точь-в-точь порез
Глазного яблока – и шарик
Земной наш вытек, как хрусталик, –
Глазница Господа пуста,
И Космос – чёрная повязка, –
Такая жалкая развязка...
...А может быть, один из ста
Есть шанс нам уцелеть и выжить?
Но как невыносима явь!
Шепчу во тьме я: "Отче, иже...
Помилуй нас. Прости. Наставь
На путь – он крестный, а не рылом
В дерьмо... Ещё молю за тех,
Кто не стерпел: верёвку – мылом,
И всё... Прости им смертный грех. "

Я купила его книжку. Паша был растроган. Оказывается, я была единственной его покупательницей, весь тираж он раздарил друзьям. Надписал: "Первому покупателю

моей книги". Дома я открыла её и забыла обо всём.

...Поймите: мне тесно и душно – и я
Не сходства ищу, но различья
Меж мною и миром, который во мне
С тех пор, как я чувствую тело.
Душе остаётся пристанище вне
Земного предела!

На меня стремительно и неудержимо нахлынул мир другого человека, поглотивший всю целиком, как волна в 10-балльный шторм островок суши. Я не находила себе места: то кидалась перепечатывать его стихи, то писать о них статью неведомо куда, то звонить знакомым, обчитывая их этими стихами, то опять углублялась в книжку. В конце концов написала ему письмо "по горячим следам", где высказала всё, что думаю и чувствую по поводу его строчек, которое вручила при встрече. Он не ожидал всех этих слов, что прочёл. Реакция была бурной. Позвонил ночью из котельной, где тогда работал:

– Спасибо Вам за письмо. Мне за всю жизнь ещё никто никогда такого письма... Пришёл вчера в "Камелот". Там говорят: "Постой пока минут 10, если народа не будет – войдёшь." Стою, курю. Читаю письмо. Улыбаюсь, как дурак. И мне уже всё равно, пустят меня в этот "Камелот", не пустят... Пришёл домой, поцеловал Ваше письмо. Если б у меня был сейф несгораемый, я бы его туда спрятал, и пусть бы всё сгорело, только б оно осталось... Я рыдал над Вашим письмом. Если нас когда-нибудь жизнь разведёт по разные стороны баррикад – я всё равно никогда не забуду того, что Вы написали.

А что я такого написала? Что он поэт. Что для меня это аксиома. Что у его стихов есть будущее. Потом всё это я повторила на его вечере в Доме искусства и науки. Вечер прошёл с небывалым для здешнего учреждения триумфом. Закончился он аукционом, на котором Пашкины книги буквально рвали из рук, предлагая цену вдвое большую стартовой. Корнилов объявил тогда аукцион вроде бы в шутку, но покупать кинулись всерьёз. Последняя пачка из семи книг в считанные минуты была расхвачана.

...И сведётся вся жизнь к беспощадному торгу,
И придёт нелюбовь со звериным оскалом,
И, грызя одиночества чёрствую корку,
Я пойду наугад по безлюдным кварталам.
И как зверь, за которым по следу – собаки,
Буду путать следы. И – совсем уже нищий –
Вскоре стану бомжом, и в помойные баки
Буду лезть, чтоб добыть хоть какой-нибудь пищи.
Я беседовал с Богом – ан вышло, что с чёртом.

Надрывается мозг, как свихнувшийся зуммер.
Разлетается "я", точно лужа под "фордом",
Вдрызг на тысячи брызг, на осколки безумья.
На душе обострённое чувство заката.
Этот день был последним, и жизнь – костью в горле.
Напоследок взгляни, зафиксируй стоп-кадром –
Завтра ангел сыграет побудку на горне...

Он не притворялся, не позировал, не играл. Он был готов до конца идти по своей гибельной дорожке.

...О Цезарь, я иду. На смерть. Физкульт-привет!..
Ну ладно, хватит; чай, куда ты не падай,
Кто из людей – ответь – кто рылом в грязь не падал?
Всё заживёт до завтра. Дрожит твоя рука,
Бежит строка – куда? Впадает, как Ока
Впадает в Волгу. Что ж, все движемся мы к устью –
Чего – знать не дано. И вот я с резкой грустью
Вдруг вспомнил – но забыл. А темень – глаз коли.
Архангел-Михаил отдаст команду: "Пли!" –
Не очередью взвод, а из мортиры выстрел
Раздастся в темноте, – и солнце, точно вымпел,
Поднимет на руках небесный гарнизон,
И озарится вдруг в час ночи горизонт,
Ядром же буду я; пробью я лысый череп
Луны, прошью насквозь; вернусь обратно через
Мгновения-века... Да, был я на луне!
И я не лгу, а лжёт лишь память обо мне.

Моя память не лжёт. Она помнит всё до мелочей. Даже то, что, может быть, и не стоило бы помнить: каким бывает поэт и гений, пока его "не требует к священной жертве Аполлон".

Хорошо помню тот телефонный разговор. Говорили о моей книжке, которую я подарила Павлу с надписью: "Надеюсь, что жизнь не разведёт по разные стороны баррикад." Он только что прочёл "Реквиемы".

– Я просто говорить не могу. "И сердце на куски не разорвалось", – не помню, откуда эти строчки?

– Это Тютчев. На смерть Денисьевой. "О Господи, и это пережить! И сердце на куски не разорвалось..."

– Да, точно! А стихотворение "Всё умерло, и только память..." – это самое сильное стихотворение в книге, я считаю, оно смело могло бы войти в любую антологию.

Позже Паша положил этот стих на музыку и решил выступить с новой песней на моём творческом вечере. Несколько вечеров мы у нас репетировали. Особенно запомнился один.

Пашка, в очень идущем ему тельнике с засученными

рукавами, угнездившийся между баррикадами книг, в которых зажат микрофон, выводит гробовым голосом: "Всё умерло. И только память..." Я – с наушниками, похожая, по его мнению, "на радистку Кэт", записываю на магнитофон. Делаю несметное количество дублей. Бард периодически просит налить ему пустырника (за неимением валерианки), поскольку, как уверяет, "разволновался." Поясняет: "Она на спирту." Наливаем раз, другой, третий. Чувствую, дело именно в "спирту." Потом вопрос ставится прямо: "У вас какой-нибудь алкоголь есть?" Давид наливает шкалик водки, которая у нас стояла, кажется, лет десять, сейчас уже такой не делают. Хвалит: "Вкусная." Просит повторить. Я в замешательстве. "Наливайте, наливайте, не стесняйтесь." Однако я всё же "стесняюсь". Не много ли? Говорю, что это скажется на качестве исполнения. "Наоборот." Протягивает мензурку из-под пустырника: "Налейте хоть сюда." Налила было, выбрав меньшее зло, но останавливает осуждающее Давидово: "Что уж ты! Это уж слишком" (при молчаливой поддержке Пашки). Водка постепенно исчезает в глотке певца.

В результате – оживлённые разговоры, пение до двенадцати ночи. Напеваю раз, другой, что пора. В полпервого наконец понял и обиделся: "Ну хоть чай я допить могу?" Потом просит денег на дорогу.

– Десять? Не хватит. Сейчас ничего не ходит.

Даю двадцать.

– Завтра отдам. Впрочем, боюсь, сейчас ничего не ходит, я ничем не уеду, придется опять к вам возвращаться...

Давид: "Может, тогда останешься, у нас переночуешь?"

Через мгновение он уже спал.

Час уже третий, а может, и пятый.

О, твой полночный бред...

На крестовине окна распятый,

Ты не воскреснешь, нет!

Утро придёт – и сомкнутся ресницы.

Мир станет мил и прост.

К тебе прилетят твои райские птицы –

Сирин и Алконост.

Утром порывается уйти.

– Да подожди, сейчас завтракать будем.

– Тогда я пока за сигаретами схожу. Давайте заодно

Линду вашу выгуляю.

Возвращается с сигаретами, но без Линды. Она где-то потерялась.

– Я её звал, она не пошла. И с земли ест всякую гадость.

Я машу рукой – ладно, сама придёт. Она у нас

самостоятельная.

Готовлю завтрак.

– Ты какую кашу любишь – сладкую?

– Сладкую. Но вы делаете, какую вы хотите, – спохватившись.

– Но мне – сладкую, – уточнил веско.

Предлагаю сосиски. Благовоспитанно отказывается:

– Я уже сыт. – И тут же сдаётся:

– Ну ладно, только одну. С горчицей, – уточняет.

– Может, с соусом?

Минутное замешательство.

– Ладно. Одну – с горчицей, другую – с соусом. Две дадите?

Баночка с горчицей на исходе. Неодобрительно качает головой.

– Дайте ложку.

– Вот ножик. (Думала, он на кончик ножа её возьмёт.)

– Да разве ножом положишь?

Ложечкой выскреб всю горчицу так, что она погребла под собой сосиски. Сверху всё это обильно полил соусом. Я с ужасом смотрела на это адское блюдо. Съел, не моргнув глазом, и вылизал всю тарелку, как Линда, до блеска.

Дайте псу мосол – желательно с мясом, –

Я его обглодаю, положу в уголочек,

А потом мы вдвоём с бескрылым Пегасом

Галопировать будем по рытвинам строчек.

Ставлю на стол селёдку, разделанную в селёдочнице. Он придвигает её к себе, вооружившись вилкой.

– Вот тарелочка.

– Зачем же пачкать тарелку? – недоумённо. Через минуту селёдочница пуста. Мы с Давидом только облизнулись. Завариваю чай.

– Можно, я сделаю себе чай, какой хочу?

– Ради бога.

– Мне нужен бокал, куда переливать. Ситечко есть? И пачка чая. Ложек пять. Не жалко?

Священнодействует над чаем. Жуткая, почти чёрная жидкость.

– И сахар. Ложек восемь. Чтобы убить горечь.

Наслаждается чаем.

– Попробуйте! – Мы с Давидом дружно отказываемся.

Когда я вернулась на кухню – он сливал из чайника кипяток в кувшин.

– Чтобы была вода.

Я опешила:

– А мы-то что пить будем? Мы-то ещё чай не пили.

Обескуражен.

– Я хотел как лучше...

После его ухода заглянули в холодильник: "Шаровым покати" – как выразился один местный остряк. Но за талант хотелось простить всё.

Как-то дали его книжку Ю. Сидоренко, издателю. Через несколько дней тот звонит:

– Спасибо вам за Шарова. Какой силы стихи! Я всё время их перечитываю. Какие мысли, метафоры! Это большой поэт. Может быть, даже гений. Я даже не подозревал, что такие есть в Саратове. Как бы с ним познакомиться?

Вскоре такой случай представился. Мы пригласили их обоих. Но Пашка даже не попытался понравиться издателю. Он пришёл с чекушкой, к которой беспрерывно прикладывался, с кассетой какого-то барда, которой всех замучил, заставляя слушать, безумолку говорил, сыпал цитатами, не давая никому вставить слова. Даже не догадался похвалить стихи Сидоренко, когда тот их прочёл, встретил неприличным молчанием. Тот долго не засиделся. Потом при встрече Давид спросил его: "Ну как тебе наш поэт?" – "Как все гении, слушает только себя..."

Да, что верно, то верно, прорваться сквозь Пашкин монолог было трудно. Невольно вспоминался А. Белый, который заговорил однажды Ходасевича до обморока. И пока того приводили в чувство – рвался в дверь, крича, что ещё чего-то недосказал. Особенно это касалось пения. Когда Шаров пел – так же, как и когда пил – он не мог остановиться. Хотя честно предупреждал: "Вы мне только скажите: "заткнись", и я тут же заткнусь". Когда он приходил с гитарой – все наши планы летели в тартарары. Первые часа два-три мы слушали, и не без удовольствия: Высоцкий, Галич, Визбор... Репертуар Пашки неисчерпаем. Потом эти песни начинали уже, что называется, лезть из ушей. Я гладила бельё – он пел. Я, извинившись, уходила на кухню – он доставал и там. Давид, как Ходасевич, уже замордованно свешивался головой с кресла – он всё не унимался. Где-то ближе к полночи опомнился: "Я, кажется, вас слегка утомил?"

Да, не полюбить его было нельзя, но вытерпеть – невозможно. Мы, однако, привыкли к причудам "гения", и если он не звонил или не появлялся больше недели – уже начинали беспокоиться: как там Пашка? Уж не случилось ли чего? А случалось беспрестанно: то в милицию заберут – в шалмане концерт устроил, то бумажник с документами потеряет, то в костёр упадёт на пикнике, то – что самое взрывоопасное – влюбится. И – вороха стихов. Ни одного

визита не обходилось без нового стихотворения. Когда кто-нибудь из нас его читал – никто другой в это время не имел права пикнуть, Пашка шикал на каждого, кто нарушал тишину, и сам замирал, как ящерица, не сводя напряжённого взгляда с читающего его опус, словно от этого зависела вся жизнь.

Есть у него стихотворение, которое мне очень близко, поскольку оно о собаке:

Вошёл в трущобный двор – в груди
Заныло: сука злая,
Ощерив пасть, "не подходи!"
Кричала, горько лая.
О материнская вражда!
Она меня на ключья
Порвать хотела, вся дрожа
От ярости. И прочь я
Бежал позорно: кто двуног,
Уже по крови связан
С тем человеком, чьим КАМазом
Раздавлен был её щенок.

Это стихотворение я бы назвала ключевым, в котором ключ ко всему его творчеству. Ответственность. Совесть. Жалость. Душа. Вот четыре кита, на которых держится его поэзия.

А рядом калека, упёрся в костыль,
Истёртый от сотен исхоженных миль.
Лицо у него – точно сноска
На беды людские. В протяге руки
На грубой ладони дрожат медяки –
Их щёки натёрты до воска.

Он в ответе за раздавленного КАМазом щенка собаки, за нищего калеку, за старушку-побирушку, которая

Ходит в церковь над Шексною,
Где святой Борис и Глеб,
И беззубою десною
Мнёт заплесневелый хлеб.
Пред иконой да лампадкой
Шепчет: "Господи, спаси",
Побирается украдкой
На кормилице Руси.

А в другом стихотворении образ этой нищей старушки вырастает в трагический образ России, поруганной нашей Родины:

Россия – нищею старушкой
(Да, нет былого благолепия
В её чертах: она в отрпеля
Одета, стала побирушкой)
Бредёт; а тут ночного клуба
Огни, но свет очей потух,
И на скамейку возле клумбы
Присела, переводит дух,
А рядом парень хлещет пиво,
Я вижу, это "Бочкарёв", –
Отдал бутылку ей лениво,
И вдруг – зауспокойный рёв, –
Летит, мигалками моргая,
Авто ночного патруля.
Россия, боль превозмогая,
Встаёт – не чья-нибудь земля,
А наша, слышите, вы, наша!..
Товарищи иль господа,
Терпенья – рюмка или чаша? –
Бездонна, в этом вся беда.
Чего намеряла ты, меря?
Чего ты учудила, чудь?!
Летит на красный белый "мерин",
А следом "бэха"... Входит в грудь
России смертная истомы, –
Со лба рукою пот стереть,
Идти, ползти – но только дома,
Не в подворотне околеть!
И вот розовощёкий дядя
В пальто двубортном – киллер, что ль? –
Суёт червонец ей, не глядя
В глаза. О Русь моя! Доколь
Ты будешь где-то на задворках,
Чужая всем. Твой тяжёлый Крест:
В набитых до отказа моргах
Те, кто не дожил до невест,
Те, кто погиб в горах Кавказа.
Не скажешь в наши времена:
"Твой ход, как чёрная зараза,
Губил, ничтожил племена",
"Смирись, Кавказ, идёт Ермолов".
На теле Родины нарост,
Гнойник. И нет таких уколов,
Чтоб излечить. И лишь погост
Растёт, жиреет – ряд за рядом
Могилы свежие. О Русь!
На небо ли таким парадом
Ты маршируешь?.. Не берусь
Судить Чечню. Тебя, Россия,

Судить не смею: я твой сын.
Пусть вечно длится литургия
Твоих берёз, рябин, осин.
Кому-то – родина иная,
А мне – Руси иконостас.
О Богородица, я знаю,
Ты молишь Господа за нас.

Это стихотворение родилось у Паши после нашего разговора о стихах Рубцова, его патриотической лирике. На другой день он позвонил из котельной и прочитал его звенящим от волнения голосом, грацируя чуть больше, чем обычно. У меня мурашки побежали по коже от восторга.

– Нравится?

– Очень.

– Я хочу посвятить его Вам!

Он подарил мне экземпляр этого стиха с припиской: "Только Вам я обязан этим стихотворением, Вы знаете, почему." Это стихотворение дорого и ценно для меня ещё и тем, что оно – не дежурное, не показушное, не умильное или пафосное, как у наших записных "патриотов", что он, по словам Иртеньева, "не рвёт рубаху на груди, и в нос не тычет вам портянки как символ веры и тоски."

Однажды в газете появилась ругательная статья о стихах Шарова. Возмутил не сам факт критики, а её вздорность, бездоказательность, незамысловатость. Объединив поэта на скорую руку с другим автором – прозаиком(!), ничего общего с Шаровым не имеющим, критикесса походя, как бы между делом, чуть ли не брезгливо разделалась с молодым дарованием, не взяв на себя труд повнимательней вчитаться, вникнуть, понять. Особенно меня разозлило одно место в конце статьи, где она цитировала, прекрасные по-моему, строчки, привожу их полностью:

И когда над душою – махровою полночью
Кольхается бред, точно веер, и тьма беспроглядна,
К сердцу руку прижать бы, но – полно, чью?!
Я не зарюсь на счастье: живу – и ладно.

Какие чувства вызывают эти строки? Сочувствие, сопереживание, жалость, печаль? У критикессы они исторгли следующую фразу: "Утешает, что о своих бытовых проблемах – а они ужасны! – поэт возмещает скромно: "Я не зарюсь на счастье: живу – и ладно." Вот что её утешает, оказывается. Его скромность. Негромкость его боли, его проблем. А меня вот не утешает. А я вот хочу ему счастья. А таким, как эта, хотела бы ответить словами того же Шарова из другого стихотворения:

Кепчонку надвину на уши и руки
Упрячу поглубже в карманы, ах, суки,
Вы смерти желали птенцу и котёнку,
Но если мой дух проявить, точно плёнку,
Откроются дальние горы и страны;
Небесной, не знаю, дождусь ли я манны,
Но дух мой, как голубь, сорвавшийся с крыши,
Взметнётся под облако – выше, всё выше.

Как-то он мне сказал по телефону: "Вы одна меня понимаете." А я ответила: "Когда-нибудь тебя будет понимать весь мир." (Вспомнился Георгий Иванов: "лучший поэт мира и его окрестностей".) Нет, это кроме шуток. Нет пророка в отечестве. Ван Гог при жизни не продал ни одной картины, а теперь попробуй купить его самый небрежный и неумелый ранний рисунок. Никто не знает истинной цены произведенного художником продукта, только время назначает цену.

О своём я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На ещё безмятежном челе, –

писала Ахматова о Бродском. А я вот вижу на Шаровском – далеко не безмятежном – челе – клеймо удачи. Может быть, она будет выражаться не в чём-то реально-материальном, а в экзистенциально-метафизическом, на уровне цветаяевского "а зато... А зато – всё!" Но это "всё" у него будет. Уже есть.

Так может быть, судьбе на милость
Без боя сдаться? Счастье снилось,
Кружило голову, а въяве
Жизнь беспардонна и нелепа,
Но я – по грудь в помойной яме –
Держусь за небо.

Восхищает лаконизм, точность слова, ёмкость мысли, что ни строка – отлитая формула.

Апрель. Страдает белизна.
И чувства, что несёт весна –
Суть неродившиеся дети.
И в свете солнечных лучей
И ты ничья, и я ничей.
А может, нас и нет на свете.

* * *

...И чужа в жизни смерти дольку,
Обоим он ни нет, ни да.

* * *

...Пусть мелят жизни жернова,
Душа жива, душа жива!

А вот это уже классика:

Окно, открытое ветру,
И влажная ночь. Навсегда
Я принял тебя, как веру.
Бессмысленных дней череда
Закончилась. Ярок и светел
Стал мир: я прозрел наконец.
Так грудью ложится на ветер
На крылья вдруг вставший птенец.
Да, так воскресают из пепла.
Нет больше других берегов.
Ты – вера моя, что окрепла,
Пройдя через девять кругов.

Цветаева писала: "Я не верю стихам, которые льются. Рвутся – да!" Эти стихи – рвутся. Рвутся из глубины сердца. Буря, натиск, стремительность, страсть. Какая напряжённость речи, звуковая, ритмическая, эмоциональная энергия! Это поэт пронзительной душевной муки.

Проклинай же себя, ты один лишь виновен
Перед всеми во всём!, упивайся виною.
Ну и что из того, что душа твоя ровень
С наглым ветром, с бесстыжею этой луною?!

Это поэзия обречённая, гибнущая, почти зовущая на помощь.

Оказалось, всегда может быть ещё хуже – хуже намного,
Это как вход в бесконечность, и в мире вшивом,
Где молил о помощи Господа Бога,
Не поможет никто – ни Христос, ни Шива.

Порой его захлестывает отчаяние, ужас безысходности, кажется, нет выхода из этого лабиринта одиночества в толпе ("о толпы бесконечноголовая гидра!")

...Я Бога звал на помощь, звал и беса –
Ответа нет. Кругом листвы завеса.
И не найти мне выхода из леса.

* * *

...В собственных я заблудился речах,
Небо не смог удержать на плечах
И сатанею в январских ночах!

* * *

Сорок градусов грусти. Запаян ты в колбе
"Я"; с тобой – оглянись! – никого нету рядом.
Возвещаешь об этом ты *urbi et orbi*,
Но пропитан твой слог одиночества ядом.

Я не верю тому, кто сказал, что в квадрате
Человек, если он одинок. Эта степень –
Мука адова! Можно подумать о брате,
О сестре – не поможет: один ты, как стебель...

* * *

...И серная меня б согрела спичка –
Но жизнь моя, сестра-эпилептичка,
В падучей бьётся – пена изо рта!

Кажется, беспросветней уж быть не может, но нет,
каждый новый стих доказывает, что "может быть хуже, хуже
намного", и всё глубже погружаешься в эту достоинщину, и
тебе уже ни дыхания, ни воздуха не хватает.

...Ах, Господь! Я в душевной коме.
Ни во что я не верю, кроме
Смерти, – страшен мне гроба ящик,
Ибо вымер мой дух, как ящер.

* * *

... Что может быть проще, чем сесть на иглу,
Затеяв со смертью шальную игру,
Судьбу под конец остограмить,
Черкнув пару строчек на память?

* * *

...Что жизнь? Да просто к смерти повод,
Как поворот в замке ключом.

* * *

...Я законы бытия нарушу,
Оттого, что тянет, как магнитом,
Неизбежность смерти. И подбитым
Волочит крылом хранитель-ангел.
Жизнь идёт ко дну, как будто танкер,
Полный под завязку чёрной нефтью
Дней, сыгравших в подавки со смертью.

* * *

...Стынет кровь, но тебя в ней любой анализ
Обнаружит, как некий вирус,
Когда я напоследок, как пёс, оскалюсь,
Из подъезда пойду на вынос.

Помню, когда я эти стихи впервые прочла – поняла, что должна его разыскать. "Если этот человек что-нибудь с собой сделает – я себе этого не прощу", – была одна мысль. Я ничего не знала – ни адреса, ни телефона. Звонила общим знакомым, оставляла свои координаты. Копила слова, которые ему скажу.

– Да ты-то тут причём? Кто ты ему? – говорил Давид.

– Как это кто! Я стихи прочитала! Разве этого мало? Ведь должна же у нас быть какая-то круговая порука.

Но даже стихи о смерти у него – это живые стихи, с живой болью, с мощной энергетикой, и веришь, что это лишь мертвый сезон, за которым последует новая жизнь, что вирус любви к жизни в них сильнее соблазна небытия, что он обязательно победит, перевесит.

...На стыках рёбер, как состав,
Грохочет сердце. Никотином
Отравлен мозг... Перелистав
Жизнь, вижу: дух, страстей горнило
Пройдя, окреп. Сей стиль смешон?
...Ещё не высохли чернила,
А я из мёртвых воскрешён.

Иногда он мне показывал какое-нибудь своё стихотворение, вроде: "Намылить верёвку – и амба! Погаснет настольная лампа..." И спрашивал: "Хорошее?" И я не знала, что ответить. Да, хорошее. Но лучше б его не было, этого хорошего! То есть того, что его породило. Лучше уж плохое, чем **такое** хорошее! Я вспомнила, как Ахматова показала матери свои стихи, а та расплакалась: "Я поняла одно: моей дочке плохо."

Протест – вот что вызывали у меня эти его "смертельные" стихи. И похвалить их – всё равно что сказать: "Хорошо мучаешься, классно страдаешь". Сказать – не пиши, – нельзя, ведь он, когда пишет их, освобождается от тяжести. Сказать – живи по-другому? Не думай об этом? Смени угол зрения? Возьми нотой выше? Мне было тяжело от этих его стихов. И беспомощно. Хотелось, чтобы в его жизни произошло что-то такое, что рождало бы совсем другие строки.

Я написала ему в письме: "Понимаешь, это у каждого – "у каждого в шкафу свой скелет". Как писал Гандлевский: "Каждый сам себе отвори свой ад, словно дверцу шкафчика в душевой." Не надо её отворять, будь она проклята. Не зацикливайся на этих мыслях."

Он ответил мне стихом. "Он Вас порадует." И посвятил его мне.

Не умирай, живи ещё, покуда
С юродивою песнею у рта
Душа жива, надеется на чудо,
И дверь в кабинку ада заперта.
Накликал оттепель... Помянем тех, кто не был,
Не посетил сей мир. Минут же роковых
Хватает за глаза. Пенянь на Небо,
И злобно выть, и пить за четверых...
Не в этом дело... Прокуратор вынес
Свой приговор. "Распни его, распни!"
Но Царствие Его пребудет ныне
И присно, и вовеки. Сохрани,
Господь, не тело и не душу – речью
Остаться дай (я пред Тобою чист), –
Пускай течёт по правому предплечью,
По кисти – в пальцы, чтобы этот лист
Заполнить. "Смерть – разлука, но и только."
С юродивою песнею у рта
Пусть не душа жива, а только долька
Души. Но дверь кабинки заперта.

Поэту всё впрок. Горе, обиды, нужда, одиночество –
всё в корм этому коню – Пегасу.

Только довольно страхов. Я так напуган,
Что мне уже и не страшно ни капли.
Вот найду обязательно пятый угол
В четырёх стенах – пусть глаза ослабли –
И забьюсь в этот угол, а там будет счастье,
Пусть хоть маленькое, но моё, пушистое, как котёнок.

Я выискиваю в его стихах эти пушинки счастья,
крупинки радости, тем заметнее на общем беспросветном
фоне, чем гуще тьма. "Чем ночь темней, тем ярче звёзды."

Проклюнул я скорлупку сна
И вылупился в мир с рассветом.
Гляжу – за окнами весна
Покончила с февральским бредом.

Туман рассеяли ветра,
Лучистый мир в окне напротив
На зреньё действует с утра,
Как бударажущий наркотик.

И я на миг, пока во мглу
Опять не погрузился разум,
Прильну к оконному стеклу
Почти с молитвенным экстазом.

* * *

Я помню тот домик: укрывшись за гребнем,
Он был прихорошен гребёнкою леса,
Глазел он на берег, усыпанный щебнем, –
Весёлый разбойник, шельмец и повеса.
В нём ветер распахивал двери как веер,
И запахи ночи хватал он, дуряя.
Пергаменты волн семенили на север,
И я выбегал прочитать их скорее!
Рискуя упасть, в зеленеющем мраке
По круче спускался я тропкою зыбкой,
Но тут загорался во тьме лунный бакен
И нежно маячил мне жёлтой улыбкой!
Тянуло от берега запахом дыма,
И смехом солёным тянуло оттуда.
Слезились глаза, и за маревом зримо
Мерещилось чудо...мерещилось чудо...

* * *

И город по-над Волгою,
Покончив с зимней, долгою
Морокой, стал моложе.
На крыльях юго-западный
Несёт апреля запахи,
И солнце строит рожи.

И с зимнею одеждою
Покончено, с надеждою
Следят за ртутью в оба –
А сколько там по Цельсию?
По снегу, солнце, целься и
Расстреливай сугробы!

И кажется, что оттепель
Приносит счастье – вот теперь
(все верят в эту сказку)
Жизнь наконец устроится,
Даст Бог ещё до Троицы,
А может быть, на Пасху!

Цветаева признавалась в своей "дурной страсти":
искушать людей (испытывать) непомерностью своей
правдивости. И многие этого испытания не выдерживали.
Шарову это тоже было свойственно. "Я Вам такое о себе
расскажу, такое, – свистящим шёпотом стращал он меня, –
Вы меня на порог пускать не будете!" Но он всё уже
рассказал в своих стихах. Я читала их – и у меня было
чувство воскрешения – не его – меня, прежней, настоящей,
подлинной. Я всегда стремилась быть собой, всей собой, хотя
чаще всего этого не следовало делать. И часто действовала
себе во вред, когда писала отчаянно-обнажённые письма
вместо ожидаемого обдуманно женского поведения. Так не

добиться любви мужчины. Так не добиться любви читателей – большинства читателей, которые ждут "уж рифмы – розы, на вот, возьми её скорей!" Так вот не "на", а вместо этого прочтут у Шарова: "иди на..." ("Ухмыльнётся Парка и скажет: "иди на..."). Но есть другая любовь – та, что над жизнью. Есть любовь ангелов, Бога. Или чёрта, Дьявола, что в данном случае одно и то же. Их любовь он завоевал.

Сожми же крепче зубы и, закусив до крови
Обветренные губы, лови себя на слове.
Ты вознесёшься снова к заоблачным чертогам.
В начале было Слово, и слово было Богом.

Памфлеты

Это – самая "остроугольная" часть книги, которая вызовет бурю возмущения у тех, кто попал в её герои. Когда-то в ходу были популярные строки:

*Нам нужны
Подобнее Щёдрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали.*

Но увы, таких не бывает. Я использовала этот уже подзабытый жанр для обличения – не конкретных людей, а ненавистных мне явлений в литературе и культуре: снобизма, антисемитизма, пошлости, графомании и дилетантства во всех его видах.

Немужская поэзия

**...Или бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвёт пистолет,
Так что сыпется золото с кружев
С розоватых брабантских манжет.**

* * *

**...Любить – это значит: в глубь двора
Вбежать, и до ночи грачьей,
Блестя топором, рубить дрова,
Силой своей играючи.**

* * *

**...Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты солёные слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почём, –
Значит, нужные книги ты в детстве читал.**

Гумилёв, Маяковский, Высоцкий. Что объединяет эти, казалось бы, совершенно разные стихи? То, что это – мужская поэзия. Энергичная, мускулистая, рельефная, с чётким ритмом, упругой строкой, с отчётливо выраженным признаком пола. Мне ностальгически вспоминались их строчки, когда я листала скопившиеся у меня сборники саратовских поэтов, раздумывая, от каких освободить уже перегруженную книжную полку. Бросилась в глаза одна особенность, отличавшая почти все эти сборники поэтов мужского пола – отсутствие в них мужского начала: мужской уверенности, силы духа, воли, твёрдости, ума, наконец. Если не смотреть на фамилию на обложке, не сразу догадаешься, что автор стихов – мужчина. Как будто писало их нечто аморфное, эфемерное, воздушное. "Нежной песней рождаюсь..." – упоённо называет свой сборник один. Второй – свои циклы стихов: "Нежная флейта", "Поцелуй звезды". И благостно в них мурлычет:

Лисовином при лунности
Я льнул к её лонности...

"Я ветер! Ветер!" –

завывает третий.

Кто я? Я – ветер в забытьи,
Твою сосущий грудь, –

вторит ему второй. (Странный какой ветер, однако. В данном случае уместней, наверное, было бы сравнить себя с пылесосом.)

Поэт с готовностью отдаёт себя во власть любимой:

Я пред тобой податливей, чем воск.
Лепи меня! – каким желаешь видеть...

* * *

Приходи и ласкай мою тень! –

предлагает следующий.

* * *

Позвольте статьсЯ Вашей тенью...

* * *

Не избавлю тебя от себя.
Стану в полночь являться виденьем...

"То ли девочка, а то ли виденье" – вспомнились слова известного шлягера. Но в данном случае это "мальчик." Хотя по стихам ни за что не скажешь:

В спальне тихонько скрипнула дверь.
Это не я, чтоб тебя успокоить.
Со сквозняком вошла моя тень,
Нечто воздушное, немужское.

Ну не мужчина, а облако в штанах! А порой даже и без оных:

Провожая день ненужный,
Сняв с себя свои одежды,
Не спеша на званный ужин,
Он по-прежнему был нежный.

Наш собирательный автор – натура тонкая, даже более того – утончённая:

Две утончённые натуры,
Как два летящих голубка,
Не зная чувствам своим чужа,
Летят туда, где облака.

* * *

Я тот, по ветру пущенный листочек...–

трепещет другой. А предыдущий ему подсюсюкивает:

Я василёк, ты роза,
Мы милые цветочки.
Хочу в одном горшочке
С тобой быть постоянно.

"Вот и славно. Трам-там-там", – снова вспомнились слова умильной песенки дуэта Соломина и Васильевой из

"Обыкновенного чуда". Эдакие эльфы, эдельвейсы. А поэт Цветик продолжает:

...пленья тебя красою,
Такой простой и ясной.

А уж красив наш автор – как сам Аполлон Бельведерский. И все женщины вокруг него так и падают, так и падают, так штабелями сами собой и укладываются...

Лёгким жестом откинула волосы,
Взглядом синим метнула восторженно...

А уж если он на неё смотрит – то только себя в ней и видит. Не глядит, а глядится.

Гляжусь я в твой профиль ахматовский...

А это уже в другую:

И в светлый глянец локонов
Гляжусь я зачарованно...

("Гляжусь в тебя, как в зеркало", – вспомнился популярный певец Антонов.) А один автор так прямо и назвал свой сборник: "Себе, любимому." А на авантитуле вывел крупным шрифтом:

Да, я не Пушкин,
Да, я не Тютчев.

Вот хоть один самокритичный нашелся, – подумала было я, но осеклась, прочтя дальше:

Но я богаче,
Внимательней, чутче.

От скромности не умрёт и другой автор. Скорее, от мании величия:

Когда усну навеки я
В земле родимой неразбуженно,
О раковина бытия,
Не забывай свою жемчужину.

И этот тоже лелеет драгоценность своей особы:

И предстану тогда я твоей своенравной любви,
Скромный жемчуг на дне твоего океана.

В своих любовных грёзах поэт видит себя маленькой пчёлкой, неутомимо вьющейся над ухом любимой:

Над тобой пчелою я кружу
И о поцелуе ворожу...

* * *

Дарить цветы – достойно поцелуя
В ту прядку, что над ушком, завитком.
Я над тобой, пчелою озоруя,
Кружусь, смеюсь и вьюсь, как над цветком.

Или на худой конец – порхающим мотыльком:

Ты в ладони мои, как левкой мотыльку,
Дай губам моим верным припасть в поцелуе.

Он весь такой нежный, воздушный, изящный, трепетный...
Она по сравнению с ним – просто какая-то лошадь.

Ты так эффектна, знаешь, что хочешь –
Это приятно, особенно ночью.
Будем мы вместе, если захочешь,
Дикая лошадь, гордая лошадь!

А раз лошадь – что с ней, собственно, церемониться:

И вновь копытом бью я весело и нежно
О чашечку цветка, в котором спите Вы.
Проснитесь же!..

Что-то я запуталась – кто из них лошадь? Ну, не важно. Хотя копытом по спящему – это всё-таки, знаете ли, слишком. Так можно и не проснуться навечно. Но герой наш вовсе не жесток, нет. Он – мягок, жалостлив, скор на слезу.

На лице моём дождинки разместились без труда.
И блестят в глазах слезинки. Так бывает иногда.

* * *

Плачет ива, горько ива плачет.
Я и сам, как ива над рекою.

* * *

Белый парус, ты зачем
Заставляешь душу плакать?

* * *

Поэт поэту руку жмёт,
За стих благодарит.
А по щеке его ползёт
Слеза былых обид.

Впрочем, если и блеснёт в глазах поэта слеза – то непременно скупая. И мужская. Это единственное, что в нём мужского: скупая мужская слеза.

Сможешь ты всё, что нужно понять,
Поглядев в мои только глаза.
Всё, о чём не могу я сказать,
Тебе скажет скупая слеза.

Но любимая поэта черства и жестокосердна. Где ей понять тонкую любящую душу! Никакой слезой её не прошибить. (Раз даже копытом по чашечке цветка не прошибло).

Не гони меня прочь,
Не моею не будь.
Я хотел бы всю ночь
Целовать твою грудь.

И всю ночь я с тоски,
Ублажая твой хмель,
Всё сосал бы соски,
Словно ласковый шмель.

Но напрасно этот ласковый и нежный шмель над ней вьётся:

Чужая Вы, чужая, не моя.
Да что с того, душа уже не ропщет.
Пускай не мне сажать Вас на коня...

Мне грудь твою уже не целовать
И губ не лакомить упругими сосцами.
Придёт другой тобой повелевать...

Ох уж этот "другой"! Сколько страданий через него!

Душа, как Золушка, измаялась совсем
И ждёт твоей любви и состраданья.

Одним словом, она его за муки полюбила, а он её – за состраданье к ним.

Любимая! Спешу тебя любить.
Пока я жив, пока ещё не поздно, –

дурным Северяниным причитает пиит.

Почему я ещё не низший?
Почему я уже не первый?
Почему не могу я пикнуть?
Почему впереди лишь тернии?

Ну, пикнуть-то он ещё может. Терпит-терпит страдалец, а потом ка-ак пикнет своим стихом! Прямо хоть уши зажимай.

Меня никто не любит!
Меня никто не хочет!
Меня никто не нежит!
Лишь голову морочат.

Чего-то все боятся,
Чего-то всех смущает...

И чего бы это, действительно? Чего им всем ещё надо?
Какого такого рожна?

Полюбит ли кто меня бедного,
Случайно хотя бы взглянет?
Откроет ли дверцу заветную,
С собою меня позовёт?
Засушит меня тоска смертная.
Кто будет меня оживлять?
Терплю, как могу всё я, бедненький,
Умею плохое прощать, –

выводит жалостные рулады поэт в стихотворении под горестным названием "Я один, совсем один..." А другой – ещё одиноче, ещё круче:

Я одиноч, как навозная куча
На чистейшем февральском снегу.

Это ж надо, каково выдал! Куда там Маяковскому с его "я одиноч, как последний глаз у идущего к слепым человека"! "Навозная куча" намного свежее. (Я имею в виду поэтический образ.)

От самолюбования поэты легко переходят к самоуничижению (тому, что паче гордости.) И обратно.

Я песчинка на дне твоего океана,
Я твоя очень малая-малая часть.

Он умиляется себе, махонькому:

И звучит во мне, звучит
Переливчато и тонко
Непосредственность ребёнка
И предследственность причин.

* * *

Послушным комочком в кронах свернувшись,
Я забываю, что я – ветер...

Однако из бесконечно малого поэты вырастают (пусть лишь в своих глазах) в нечто бесконечно большое. Так сказать, через тернии – к звёздам.

И пусть лягушкой рос я
Завшивленной, бесхозной,
Но прыгнул высоко
Из грязи – прямо в звёзды.

Это в сказке была царевна-лягушка. А в наших стихах – царевич-лягух. Из грязи – прямо в царевичи. То бишь в

поэты. А почему нет?

В тёплых ладонях меня ты согрей,
Чтоб оказалась бездонней
Наша любовь. Пей её, пей
Чашечкой маленькой, скромной.

Кто сказал, что женщину украшает скромность? Мужчину
она украшает куда больше.

Колени сдвину,
Не буду груб.
Почти невинно
Коснусь я губ.
Потом, ослабнув,
Не упаду...

"До чего же сволочь хлипкая!" – говорил в таких случаях
Лёва Задов из "Хождения по мукам."

Погружение в женщину требует смелости,
Такой же безбожной, как самоубийство, –

глубокомысленно изрекает очередной сочинитель. Что мы, в
самом деле, безбожники что ли какие, чтобы такого от него
требовать! Упаси Господь. Живи, родимый.

Впрочем, иногда в поэте просыпается любовный голод.
И тогда он страшен:

Я в любви голоднее, чем рысь
И безбожней, чем сытая мысль.
Одного лишь хочу, чтоб объятья
Не куснула гадюка проклятья.

Поэт предостерегает женщину:

Не буди во мне лучше Везувия,
А не то изверженье последует.

А когда она, не послушав благоразумного совета, всё-таки
разбудила, считает своим долгом напомнить:

Оставаться недотрогой
Ты раздумала сама.

Так-то, милая. Чтобы никаких претензий потом. За что
боролась, на то и напоролась. "Я невиноватая! Он сам ко мне
пришёл!" – вспомнилась сакральная фраза из популярного
фильма. Только в данном случае роли переменялись: в
качестве невиноватого – он.

Наш поэт может быть коварным:

Я нахожу тебя, и всем своим бездомьем
Вцеловываюсь в нежную оплошность.

(А ты не плошай! На то и щука в реке, чтоб карась не дремал.) Но чаще он мирен и добр:

И вот живу с улыбкою беззлобья,
Как небо после ливня проливанья.

Кто-то что-то сказал про грамотность? Типун ему на язык. Да это же новое слово в поэзии! Вот вам ещё:

В тебе есть сказочность влюбляния навек...

На этой оптимистической катарсионной ноте мы и завершим наш собирательный портрет саратовского поэта. "Собирательный образ рисую тебя", – как выразился один из них. Предвижу упреки: зачем тратить бумагу и критический раж на доказательство очевидной всем графомании? Но не так уж всё очевидно, если один из цитируемых авторов – всероссийски известный поэт-песенник, второй – руководитель поэтического клуба, третий – экс-редактор солидной саратовской газеты, то есть люди не последние в местном литературном мире. Иногда полезно показать их творчество вот так, как оно есть, без прикрытия имён, званий, звучных псевдонимов, хвалебных аннотаций и заказных рецензий. И, подобно андерсеновскому мальчику, от души посмеяться над тем, что король-то, оказывается, гол. Хотя фиговым листком ему прикрывать, в сущности, нечего: он не только гол, но ещё и беспол.

Слово о предисловиях

Как-то мне случайно попался сборник стихов саратовского поэта Юрия Дружкова, известного, в основном, своими знаменитыми песенными хитами: "Лёха", "Ксюша", "Вишнёвая девятка", "Два кусочка колбаски" и др. Сборник назывался "Всё начинается с лая собак..." (Саратов, 1997). Меня заинтересовало необычайно комплиментарное предисловие к этой книжке крайне убогих стихов, подписанное Андреем Дементьевым с полным указанием всех его званий: поэт, член Союза писателей России, Лауреат премии Ленинского комсомола, экс-редактор журнала "Юность."

"К читателям!!! – так душераздирающе начиналось сие предисловие. – Дорогие друзья, любители любовной лирики, вы держите в руках поистине уникальное издание. Это первая книга стихов молодого, но уже известного

российскому читателю поэта Юрия Дружкова..." Пьян, что ли, был Дементьев или не в себе? – недоумевала я. Но даже в таком состоянии он – я убеждена – никогда бы не смог не только написать, но даже подписать подобное.

Я читала длинный перечень "суперхитов и гипершлягеров, ставших по-настоящему народными песнями на рубеже двух столетий", сверяла несусветные панегирики с вопиюще противоречащими им строчками и не верила своим глазам. Дементьев (?) пенял "немалому числу серьёзных критиков", что они устраивают Дружкову "устные и печатные погромы" – видимо, и я теперь попаду в их число – "не оставляя в покое его творчество ни на минуту, пристально следя за каждой новой работой автора". *"Но ни один из них, – говорилось в предисловии, – до сих пор пока не разобрался, почему же всё-таки эти стихи при всей своей кажущейся "простоте" и "наивности" вкручиваются в наше сознание нержавеющейими шурупами свежесго, яркого, неповторимого, несколько шокирующего видения мира."* Ну что ж, давайте хоть мы попытаемся разобраться, почему же они – т.е. стихи – "вкручиваются в сознание", или, вернее, что нам пытаются здесь вкрутить.

Я пою, потому что хочу!!!
Я хочу, потому что влачу.
Я влачу по земле свою суть.
Ты об этом, прошу, не забудь! –

громко заявляет поэт о своём существовании. Но где же "свежее, яркое, шокирующее видение мира"? Может быть, это?

Стерва-Москва растоптала поэта
Лживостью слов подкидного минета.

Круто. Хотя вряд ли кого сейчас этим шокируешь.

Но прежде чем я снова стану "чистым",
Хочу порок всей грудью я вдохнуть, –

ввинчивает поэт в наши мозги "нержавеющие шурупы" своих шедевров. Да, такое не заржавеет.

Дементьев (или недементьев), не поперхнувшись, называет Дружкова продолжателем традиций Саши Чёрного и Даниила Хармса. *"Поэт не боится так зримо использовать различные стили и направления поэзии. В каждом новом произведении автор по-новому рассказывает нам о вечном чувстве любви."* Возможно ли, о таком "вечном чувстве" – и "по-новому"? Как это? А вот как:

Но я так сильно её полюбил,
Но я дарил ей яркие астры,

Но я всегда лишь за нею ходил,
Я ведь надеялся, что не напрасно.

Увы, оказалось, что напрасно.

А ты всё крутишь с бизнесменом,
Какая ж ты на букву "б".
Я, как могу, терплю измены,
Раз мне так выпало в судьбе.

* * *

Холодом губы
Не трогай. Как лёд!
Мы ведь любили,
Думая грубо,
Как куриный помёт.

Любовь – "как куриный помёт." Ну разве не ново? Или вот это: "Твои глаза, как сено в луже..." Удивительно свежая метафора.

"Главное достоинство стихов Юрия Дружкова, – говорится в предисловии, – в их неповторимости и доступности каждому, мало-мальски поэтически воспитанному человеку. За это нужно сказать огромное спасибо автору..." Огромное спасибо!!! Ну где ещё, в самом деле, такое прочтёшь?

И, не приемля фарисейства,
Приняв любви запретный плод,
Начнём своё чудное действо,
Наполнив страстью нежный рот!!!

Куда там Хармсу и Чёрному! Данте с Петраркой отдыхают. Что же касается "свежего, яркого, неповторимого", то оно тут – на каждом шагу:

Пусть душа без любви не печалится,
До конца я спою песни славные.
В жизни разные люди встречаются,
Но душой не стареть – всё же главное!

Всё это было бы свежо, когда бы не было так... Знакомо. Ну, угадайте с трёх раз мелодию:

Сквозь расставания и через годы,
В любом краю, да и в стране любой,
Пока мы вместе, пока мы бодры,
Приходит счастье даже к нам с тобой!

Это у Дружкова. А в первоисточнике, если помните, так:

Через годы, через расстояния,
На любой дороге, в стороне любой,
Песне ты не скажешь "до свидания",
Песня не расстанется с тобой.

Но у Дружкова, безусловно, лучше. Не сравнить. Так же, как и в этом стихотворении, с названием, беззастенчиво украденным у него Николаем Заболоцким: "Последняя любовь":

Пусть лишь знает глубокая ночь,
Как с тобою вдвоём мы поладим.
Ты со мною остаться не прочь?
Умоляю тебя, Бога ради!
Цену я не хочу набавлять,
Знаю, это всё столько не стоит.
На убытки свои мне плевать,
Душу мне лишь любовь беспокоит.

Что может быть "неповторимей"?

Предвижу недоумение и возмущение читателя: сколько можно цитировать эту дребедень? Минуту терпения. Сама знаю, что "всё это столько не стоит" нашего внимания. Я бы и минуты на этой книжке взглядом не задержалась. Но... Дементьев всё-таки. Авторитетное имя. Профессионал. Что-то его во всей этой галиматье поразило, пленило, тронуло? Настолько, что заставило определить творческий дар Дружкова как "*дар Божий*", "*искру таланта, феномен которого виден воочию*", как "*из рядавонвыходящестъ с налётом лёгкой сумасшедшинки – всё это и есть составные части "странного коктейля" с названием "стихи от Дружкова."*

"Сумасшедшинка" – что правда, то правда, есть, причём, я бы даже сказала, не лёгкая.

Заученной модной походкой
Под блеском пугливой луны
Пойдём в магазин мы за водкой,
Любовью безумной полны.

Этакая "безуминка." Изюминка. Из рядавонвыходящестъ. Вот только не понятно – к кому "любовью безумной полны"? К водке, что ли?

Я люблю тебя за троих,
Без тебя жизнь я просто не мыслю...

Почему же "за троих"? Потому что перед этим – "на троих"? – приходит на ум неуместная ассоциация. Но только успеешь её отогнать, как следом – вторая:

Всего один глоток вина,
И мы любовью будем сыты...

Да, без пол-литры, что называется, не разобраться в этом "коктейле" понятий. Коктейль, действительно, странный. А не странен кто ж?

Второй сборник Дружкова с медицинским названием "Диагноз – любовь!" (Саратов, 1999) тоже не обошёлся без предисловия. Подписано оно не менее известным поэтом Николаем Доризо. А называется так: "Маленький принц из страны ненаписанных песен..." Очень трогательно. Даже в носу защипало. Если бы... Если бы так! Но песни, к сожалению, написаны. И даже опубликованы. Что делает неотвратимым и беспощадным диагноз читателя, который он им поставит, прочитав. И будет он, боюсь, совсем не таким, как в названии книги.

Н. Доризо начинает с того, что объявляет предыдущую книгу Дружкова (о лае собак) "национальным бестселлером 1997 года". *"И вот вы держите в руках его вторую книгу – сентиментально-романтическим названием "Диагноз – любовь!!!"*. Каждое его новое произведение становится всё более весомым и заметным!"

Что-то знакомое. Странно, не правда ли, что Н. Доризо, как и Дементьев, питает такое же пристрастие к обилию восклицательных знаков. Эта же особенность отличает и орфографию самого Дружкова. Какие-то нехорошие подозрения приходят на ум. Но мы их пока что отгоним. Читаем у Доризо (или якобы Доризо): *"Редкая способность автора передавать в своих стихотворениях всю палитру человеческих взаимоотношений, безусловно, сделала его наиболее ярким лириком нашего времени."* Проглотим и это. Дальше: *"В новых стихах Ю. Дружкова прослеживается и тревога за дальнейшую судьбу его любимой малой и большой Родины, и личные муки и страдания поэта более интимного характера. Всё это подкупает и очаровывает одновременно!"*

Передохнём. С надеждой откроем книжку. Неужто правда? Тревоги за судьбу Родины – ни большой, ни малой, правда, обнаружить не удалось, но вот "личных мук и страданий интимного характера" – в этом классик не обманул. Этого сколько угодно.

Полна тоской душа моя,
Страдать привыкший я уже,
Любовной страсти не тая,
Скребуются кошки на душе, –

жалуется автор. Он откровенно признаётся, деловито перечисляя:

Хочу тебя по пятницам,
По вторникам хочу,
И в среду тоже хочется,
Но я о том молчу.

Похвальная скромность. А страдания-то, страдания-то какие!

Ох, ты, сердечко бедное,
Как стерпишь вновь измену!
Ты у меня не первая,
И я тебе не верный.

Чего не бывает в жизни. Разве ж это помеха в настоящей любви?

Но в душе осталась вечно ты со мной,
Мне тебя, я знаю, не дано забыть.
Хоть живу теперь я с женщиной другой,
Всё хочу, как раньше, лишь тебя любить!!!

Смеётесь? Насмешки строите? И зря. Грешно смеяться
над...такими поэтами.

Пускай всё смехом обернётся,
Твои интимные усмешки.
Любовь ещё тебя коснётся,
Но ты пойми, не нужно спешки.

"Сюжеты всех его произведений весьма близки и понятны каждому, – пишет предположительный Доризо. – Мы чувствуем его живое, несколько нетрадиционное поэтическое дыхание." Нетрадиционное? Где ж оно? Ага, вот:

Не имел детей и женщин,
На мужчин богат лишь был...
Становилось сразу легче,
И не брал за горло страх,
Когда брал я их за плечи,
Да ещё в других местах.

Что тут скажешь. Только руками разведёшь. Как
глубокомысленно замечает сам автор:

В жизни ведь всё исключительно,
Каждому в жизни своё.

"Поэт ведёт откровенный разговор со всеми прикоснувшимися к его творчеству людьми, доверяя им порою самые сокровенные свои чувства. Любое новое стихотворение поэта воспринимается как лёгкая, неординарная импровизация на вечную тему взаимоотношений между двумя любящими друг друга людьми", – разъясняет нам "Доризо". Ну, например:

Без надуманных забот,
Без прикидов всех, одежд,
Языком войди в мой рот
И внутри меня понежь.

И не смейте осуждать нежную поэтову душу! Вам её не понять. Он грешен не так, как вы – иначе!

Понять меня сумеешь ты не сразу
В плену своих диковинных страстей,
Переживая разные экстазы,
Познав любовь различнейших мастей.

"Любовная лирика Ю. Дружкова отличается также скрытым оптимизмом автора." И здесь автор предисловия не соврал. Оптимизма поэту не занимать.

Мы живём как на износ –
По-другому нам не жить!!!
Но не стоит вешать нос,
Но не стоит нам тужить!!!

Это скоро всё пройдёт:
Грусть, она не навсегда!!!
И опять нам повезёт –
Это вовсе не беда!!!
Всё, поверь мне, ерунда!!!

Охотно верю. Ерундой просто не бывает. В стихотворении "Прозрение" Дружков делится таковым:

Чувства свои выпуская наружу,
Я не заметил сердечную стужу.
Жаль, ошибаемся мы не однажды,
Сразу умнее становится каждый.

Увы, не каждый. Во всяком случае, автор книжки этого как-то избежал. Видимо, сам в глубине души это понимая, он пытается оправдаться, внушая читателю:

Придурок – это не дурак,
Придурок – он всегда ценней.
Мы поступаем только так,
Как нам советовал еврей.

В другом же стихе читаем:

Кто подскажет нам – гигантам мысли –
Нужные и верные слова,
Чтобы жить, от прочих не завися,
Оставляя ясность в головах!

Кто подскажет? Да еврей же и подскажет. Во всяком случае, я бы на его месте подсказала "гиганту мысли" одно только слово: стыдно. Стыдно такие книги издавать! Чем меньше

таких сборников засоряли бы прилавки наших магазинов, тем больше оставалось бы "ясности в головах."

Как тут повысишь гениальность,
Когда такое день и ночь? –

негодует Дружков. Вот именно. Это вам не производительность труда повысить, не тонус какой-нибудь. Это ж гениальность! Понимать надо. Условия поэту создавать!

Ещё надеешься на чудо,
Хоть скоро станешь сам "ку-ку."

Кажется, после чтения подобных стихов действительно таким скоро станешь. Так что никому не советую. А по поводу вышепроцитированных предисловий – не знаю как вам, а мне хочется воскликнуть, как Станиславскому: "Не верю!!!" Именно так – с тремя восклицательными знаками. Не верю, что всю эту белиберду могли так высоко оценить и охарактеризовать известные уважаемые поэты. Тут даже нет нужды посылать эти тексты самим "авторам" предисловий, которые, я уверена, очень удивились бы, увидев их впервые. Подлог слишком очевиден, чтобы его надо было доказывать, и виден невооружённым глазом "каждому мало-мальски поэтически воспитанному человеку." Хочется спросить: "Так кто же тут в данном случае "ку-ку"? И "как тут повысишь гениальность?" Или хотя бы уровень школьной подготовки по русскому языку?

Меня поражает не столько сам факт этого поступка – бесчестного для поэта – сколько равнодушие окружающих, воспринимающих подобное бесчинство как должное, не видящих в этом "из рядавонвыходящесть". Что здесь, дескать, особенного, то же мне криминал. А для меня это дико. Я не понимаю такого беспардонного обращения с чужими именами. В предисловии Льва Озерова к моему сборнику "В логове души" я не изменила ни одной запятой. У меня есть его авторский оригинал, который я всегда могу предъявить всякому, кто захотел бы в этом удостовериться. Фрагменты писем ко мне Александра Кушнера, которые приводятся в качестве предисловия в книге "Чужая жизнь", где он разбирает мои стихи, абсолютно идентичны их рукописным вариантам. Я отвечаю за каждое слово, под которыми стоят имена этих поэтов. Сомневаюсь, что Дружков может сделать то же. В той собственноручной – или, что вероятнее – состряпанной руками друзей – фальшивке, которую он выдаёт за предисловия А. Дементьева и Н. Доризо, я вижу, мягко говоря, неуважение к этим поэтам, неуважение к читателю, которого держат за дурака, "вшурупивая" ему это

хлестаковское бахвальство под видом компетентной оценки. Не говоря уже о том, что подобные деяния подпадают под вполне определённую статью УК РФ.

Вообще надо сказать, предисловия к поэтическим сборникам в последнее время настолько себя дискредитировали, что по ним можно судить не столько о художественных достоинствах книги, сколько о финансовых возможностях автора (сейчас за деньги многие журналисты напишут что угодно) и его дружеских и деловых связях. Читаю, например, в предисловии к сборнику А. Амусина "Долина", довольно умело написанном его другом М. Муллиным, такую характеристику: *"В жизни А. Амусин известен как человек щедрой, широкой души. Он, одновременно как издатель и меценат, помог издать книги ряду саратовских литераторов."* В числе последних был и сам Муллин. Не это ли обстоятельство диктовало ему столь откровенно льстивые фразы: *"Прочитай этот сборник, веришь: не только благодаря поэзии А. Пушкина, И. Бунина, Н. Рубцова, но и таких, как Александр Амусин, звезда русской поэзии никогда не закатится!"* Как говорится, ври-ври, да знай же меру. У того же Амусина есть об этом предостерегающие строки:

Ах, дожди мои – года,
Вино пресное.
Не поверю никогда
В слова лестные.

Вот и правильно, хочется сказать – не верь! Как можно верить предисловию, написанному из чувства признательности, из желания отработать долг или в надежде на обещанную субсидию. Тем более, что стихи – вот они, перед глазами, говорят сами за себя, противореча каждой своей строкой тем дифирамбам, что поются им в предисловии. Кстати, по поводу "человека щедрой, широкой души", которым представлен здесь Амусин, тоже посмею не согласиться. Я имела несчастье убедиться в совершенно других свойствах этой самой его души.

В прошлом году Амусин предложил мне вести в газете "Орбита", где работал тогда главным редактором, рубрику "Поэтический календарь" – колонку, в которой должны были раскрываться творческие особенности поэтов, родившихся в очередном месяце. Я была очень загружена лекциями, долго отказывалась, но он меня уломал, обещав платить за каждый материал по 300 рублей. Деньги мне были нужны, и я согласилась. Но после первого же выпуска с его идиотскими правками моего материала поняла, что даже за такие деньги работать с ним не смогу. В довольно корректной форме я высказала ему своё возмущение, попросив впредь

согласовывать со мной все исправления, так как фамилия под колонкой стоит моя, и нести ответственность за безграмотные "ляпы" я не собираюсь. Амусина это заело. "Твоё недоверие меня настораживает", – заявил он мне. Хотя недоверие в данном случае было как раз у него – к моим филологическим знаниям и опыту многолетней лекционной работы. (У самого редактора образование было сельскохозяйственное).

С выходом второй колонки история повторилась. После нелिцеприятного разговора я передала ему записку, не желая больше объясняться: "Когда получить гонорар – надеюсь, сообщишь сам." Наивно полагая, что журналистская, да и просто мужская честь (не говоря уже о трудовом кодексе) не позволит ему присвоить мои деньги. Увы, я слишком хорошо о нём думала. "Щедрой души" Амусина хватило лишь на оплату первого материала. Со вторым он мурыжил меня месяца два, иезуитски назначая часы (за гонораром ездил Давид), когда его заведомо там не будет. А науськанные вышколенные секретарши невинно округляли глаза: "Нам он ничего не передавал..." Он это проделывал не раз и не два, что исключает какую-либо случайность. В конце концов заявил Давиду, что взял мой гонорар домой (были предпраздничные дни) и предложил получить его у него дома: "Посидим, заодно выпьем..." Обещал позвонить, когда приедет домой. Но обещанного звонка, как и гонорара, мы не дождались. В сборнике Амусина на стр.73 есть строчки, весьма подходящие к этому случаю: "Ну, не можешь ты, дрянь, без обману!" Поистине, лучше самого себя о себе не скажешь.

"Щедрая душа" соблазнилась заработанными не ею деньгами. Когда же ему пытались напомнить о невыплаченных мне трехстах рублях наши общие знакомые, он беззастенчиво врал: "А у нас безгонорарная газета." Она безгонорарная, возможно, для сотрудников, но я-то на службе у него не состояла. С какой стати я должна была тратить на него своё время, собирать материал, писать, печатать, отвозить? Причём, за первую-то колонку он заплатил, значит, гонорар всё же выплачивался. Значит, во второй раз в ведомости напротив полагающейся мне суммы кто-то расписался?

Наверное, можно было написать по этому поводу докладную, пожаловаться его начальству, в конце концов подать в суд. Ведь деньги-то, которые он, по собственному признанию, взял к себе домой, по сути были у меня украдены. Но уж очень мерзко было всем этим заниматься.

Поражает беззастенчивость, наглость всех этих поступков. Воришка Альхен в "Двенадцати стульях" по крайней мере хоть стыдился. А ведь это именно воровство, в

первом случае – чужих авторитетов, во втором – чужого труда, который был обманным путём использован в газете. И ведь это не просто какие-то жулики, прохиндеи – люди, считающие, называющие себя поэтами! Ахматова помнится, говорила: "Мы, поэты, люди голые, у нас всё видно, поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы выглядеть пристойно." Эти, по всему, озабочены другим. И невдомёк им, что в памяти людей останутся, возможно, не своими виршами, как бы они их ни рекламировали в заказных предисловиях, а вот такими бесчестными поступками. "Досадно мне, что слово "честь" забыто", – писал Высоцкий. Пора бы нам наконец его вспомнить.

Может быть, зря я занимаюсь этим неблагодарным делом – чищу Авгиевы конюшни, но ведь кто-то должен это делать. Кто-то должен назвать все эти вещи своими именами: подлог, лизоблюдство, продажность, цинизм, мошенничество, обман. Что я и делаю.

Сон катится золотой (о стихах С. Кековой)

Недавно в книге стихов Веры Павловой я прочла строки:

Елены Шварц костлявы пескари.
Светланы Кековой пластины хека –
Январский мрамор. На исходе века
Нас мало, нас, быть может, трое, Три
Дороги, карты, грации, сестры,
Колдуньи, мойры, буквы, ипостаси...

Да, этих трёх поэтесс – несмотря на всё их различие – многое объединяет. Для самой Павловой это, по-видимому, избранность, первостепенность их звёздных имён на современном поэтическом небосклоне. Большинство читателей и критиков связывает эти имена с фактом литературной моды, получения престижных премий, частых журнальных публикаций. Для меня же их творчество роднит то, что всё это – ненатуральная, конструктивная, искусственная поэзия. Попытаюсь сейчас это доказать на примере стихов одной из вышеназванных "граций, колдуний, мойр", нашей саратовской поэтессы Светланы Кековой.

Грация, колдовство, волшебная музыка её стиха действительно поначалу завораживают.

Ах, настрой свой нефритовый Цинь,
Свой нефритовый Цинь семиструнный!

* * *

Забудем, забудем, забудем навеки,
На мельницу сплавим, в муку перемелем.
Друг друга водою обнявшие реки
Томятся в угоду неведомым целям.

Ровный, бесстрастный, отрешённый от всего земного голос. Убаюкивающая, умиротворяющая интонация. Гармония? Да, но... Какая-то неживая, хладнокровная. "Над вымыслом слезами обольюсь", – не о ней. Ни слез, ни смеха, ни гнева, ни боли – ничто не несут эти нотные знаки слов.

Ничего-то я не слышу, кроме
Звука эль, терзающего слух.

* * *

На древесном и птичьем любовь говорит языке –
По ночам шелестит, а под утро свистит и щебечет.
Чтоб ты мог услышать этот щебет, и шелест, и свист...

"Этот щебет, шелест и свист" я слышу, но мне этого мало.
Как там у Заболоцкого?

Но возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?

Возможно ли из всей многообразной гаммы человеческих чувств и ощущений взять лишь одну ноту – пусть взятую высоко и чисто, но лишь одну, и на ней лишь строить песочный замок своей поэзии?

"Какая божественная музыка!" – восклицают поклонники стихов Кековой.

Но поэзия – это не только музыка, в основе её прежде всего слово. Зачем так обеднять её назначение? Музыка – это лишь фон, лишь средство. Именно слово служит связующим звеном между сердцами и умами людей, оно должно нести в себе какой-то смысл, понятие, содержание, сущность. Его нельзя свести к звукам арфы и щебетанью щегла, как бы они ни улаждали наш слух. И если при этом молчит сердце, ум, если душа не работает, не трудится, – а над чем ей здесь трудиться? Закрой глаза и бездумно плыви по течению, "ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки-баю", – зачем нужна такая поэзия? Лучше уж поставить Шопена. А

...складывать звучные строфы,
Прикрыв неживые глаза,
Про то, как на череп Голгофы
Присядет на миг стрекоза, –

стоит ли?

Там пахнет полынью цитварной,
Так тёмн звериный устав,
Что вновь обновляется тварный
Подлунного мира состав.

Я не понимаю этих строчек, не понимаю, что стоит за этими выпренными, туманными фразами, которые, – "как речь японца, что звучит красиво и непонятно" (строчка из другого стиха.) И, по-моему, автор и не хочет, чтобы их понимали. Она хочет другого: заколдовать, задурманить, заморочить, опоить нас наркотическим зельем своих стихов. "Это похоже на сон морфиниста", – как говорит она в одном из стихотворений.

Сделай мне отвар из болотных трав,
Мой опасен дар, мой язык лукав,
Мозг, как грецкий орех, морщинист.

Так и видишь все эти лягушачьи лапки, змеиные чашуйки,

летучьемышьи крылышки, рыбы остовы, на которых настаивается горько-сладкая кековская поэзия.

Сладкий пламень тело выест
И обгложет до костей.

Бр-р-р!

Если выпить до дна этот яд, причиняющий смерть...

Не пей, читатель, этот "опиум для народа." Козлёночком станешь.

У Кековой есть одно стихотворение, об апельсинах, где есть такая строчка:

И подобно апельсину, сон катится золотой.

Она мне напомнила знаменитую строфу Беранже:

Господа, если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.

Сон золотой – это, конечно, красиво, приятно, возвышенно. Но предпочтительнее всё же искать дорогу к правде. Сами стихи Кековой – как эти апельсины, грейпфрукты, чья "кислота и сладость" услаждает утончённый пресыщенный вкус, но это не хлеб и вода, без которых нельзя жить. А если и вода, то – дистиллированная, о которой писал Леонид Мартынов: "ей не хватало сора, тала. Ей жизни не хватало – чистой, дистиллированной воде". А Пастернак так говорил о такой поэзии: "Она – как узор на обоях – достаточно приятна, но без действительной внутренней необходимости."

Предвижу возмущение местных критиков, искусствоведов, почитателей творчества поэтессы: как посмела! Замахнуться на святая святых, "живого классика" (так назвала её Т. Зорина в телепередаче), нашу гордость, "наше всё" саратовской поэзии! Но – успокойтесь, господа. Священных коров, то бишь особ, неприкосновенных для критики, не существует. И Карабчиевский писал о Маяковском, и Писарев о Пушкине, и ничего, слава их от этого не пострадала. (Себя я с ними ни в коей мере не сравниваю, просто обозначаю прецедент). Согласитесь, что в общем хоре похвал может прозвучать и иная точка зрения. Тем более, что её разделяют, как мне известно, многие, но ни у кого не достанет ни смелости её высказать, ни умения точно и аргументированно сформулировать свои мысли. Так что я это делаю как бы и за них тоже.

Да, стихи Кековой высокопрофессиональны. Кто спорит? Но вот Борис Чичибабин писал:

Нехорошо быть профессионалом.
Стихи живут, как небо и листва, –

имея в виду естественность и органичность, присущие истинной поэзии, которая всегда чуточку "глуповата", по выражению Пушкина, то есть простодушна. Поэзия Кековой слишком профессиональна, слишком мастеровита в дурном значении этого слова. Высокопарна, ходульна, искусственна. Её "язык лукав." В стремлении "сказать красиво" и эффектно ей даже порой изменяет вкус.

Воздух Богом несом,
И поэтому он невесом.

* * *

Богиня сна приобретает
Антропоморфные черты.

* * *

Прими же кинжал из Господней руки
И надвое сердце моё рассеки.

* * *

А в городе дощатые гробы
Отверзли повреждённые гортани.

* * *

Но слова впились, как клещи,
В звуковое тело дня.

* * *

Кто в гнёздах слов высиживал птенцов?

* * *

Жало плоти впивается в душу...

* * *

В пыльной, мусорной яме геенны
Наша смерть выгорает дотла.

* * *

Ночь – это дверь, ведущая во мрак,
Где ангел тьмы отводит голый локоть.

* * *

... Ангелы разлуки
Из бедной плоти вынут жало сна,
Чтобы её освободить от муки.

* * *

Ангел времени ранен навывлет...

Ангелы тьмы, ангелы разлуки, ангел времени, "ангел Божьего лица", "ангел подводный", "ангел сухопутный", "огненный ангел в чалме", – каких только ангелов не встретишь у Кековой! И мохнатого, и бамбукового, и с чёрными крыльями, и с белыми, и без оных, и "со слезой на подбородке или с пеною морской", и даже такого, который "слово, как снулую рыбу, чистит, режет, потом потрошит". А что? Как проверишь? Кто их когда видел, этих ангелов? Я понимаю: богатство фантазии, роскошь метафор. Но... Хочется сказать её же строчкой:

Слова, как древнегреческие лиры,
Звучат во сне. Их звук бывает лжив.

И ещё:

И ты у бездны на краю отбрасываешь тень,
Когда в искусственном раю уже цветёт сирень.

Как в "искусственном раю" я чувствую себя в её поэзии. Где она эту самую "тень" наводит, грубо говоря, на плетень.

Пространство выгнуто, как парус –
Везде закон его таков,
И составляют верхний ярус
Большие лица мотыльков.

Про "большие лица мотыльков", конечно, сильно преувеличено, но если поэт так видит... Непонятно только, почему в другом стихотворении у неё "насекомых маленькие лица спрятаны меж крыльев от меня." А мотыльки – не насекомые, что ли? Так большие все же или маленькие лица у насекомых? Нет, мне интересно.

Когда я читаю у Окуджавы: "Круглы у радости глаза и велики у страха", – я понимаю эту метафору, она психологически оправдана. Здесь – абсолютная прихоть стихотворца, пишущего по своему произволу, высокомерно не заботясь о читателе: поймёт ли, поверит ли. Не "пишу как дышу", а "пишу – как хочу", что хочу, то и ворочу. И – "подите прочь, какое дело поэту вольному до вас!" Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и т.д.

Одно из расхожих представлений, ставшее уже чуть ли не аксиомой, что художник мыслит образами, что без образности нет поэзии. Вовсе не обязательно. В стихотворении "Я Вас любил" нет ни одной метафоры, но тем не менее оно нас трогает и потрясает. Не надо путать поэзию с поэтичностью, это разнородные понятия.

У прошлого запах укропный – и мне не сносить головы.
Смеркается, зверь допотопный выходит из тёмной травы.
Ни страха, ни плотского пыла, ни плоской звезды в кулаке –
Сорвём ли кукушкино мыло и спустимся к мелкой реке...

Чем дальше в лес – тем больше дров. Недоумение
растёт с каждой строчкой. Что это значит? О чём это? Что она
хочет сказать? Тс-с... Тайна сия велика есть.

Где ты, моё убежище и кров?
Ты видел свет? Он был похож на ров
Вблизи от неподвижного предмета
Вокруг него...

Замороченный читатель ещё барахтается в этом тёмном
омуте слов, пытается выплыть, цепляясь за крошечную
соломинку брезжущего смысла, но – куда там. Поэт
сталкивает его вглубь – не надейся. Тони! Туда тебе и дорога.

Как свет, играет рыба на мели,
И вижу я сквозь трещины земли
Детали грандиозного устройства –
Не здания, а лишь его фасад,
И думаю: наверно, это ад
Какого-то особенного свойства.

Что? Как? Почему? А потому. "Почему это так – не ответят
Закон и Пророки", – пишет Кекова. И не пытайтесь
докапываться до смысла, – честно предупреждает поэт. Его
попросту нет.

Не пытайтесь увидеть – надир впереди ли, зенит,
И не тщишь разгадать непонятные знаки и числа.
Пусть звучаньем тебя музыкальная фраза пленит,
Не звучанием, нет – красотою, лишённую смысла.

Это – кредо. Позиция.

Неба ёж в клубок свернулся и роняет вниз иголки,
Звук бессмысленный вернулся, ангел смысла улетел...

* * *

Поймаю я и уничтожу
Бессвязный смысл постылых слов.

Надо сказать, ей это почти удалось. А вот Заболоцкий
был иного мнения:

И в бессмыслице скомканной речи
Изошрённость известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принести?

Это не значит, что я призываю свести всё к простоте и ясности Лебедева-Кумача или Асадова. В словосочетании "поэтический смысл" главное слово – "поэтический", но всё же именно смысл! Даже Манделштам, молившийся "за блаженное, бессмысленное слово", называл себя "смысловиком".

Слово, лишённое смысла, мстит за себя, оставляя пустую оболочку и закрывая доступ к душе читателя. Ему мало красивой абракадабры.

И что есть смерть? Дыра в дыре,
Где демон воздуха берётся
Твой дух пленить, поймать уродца
Верхом на мыльном пузыре.

"Верхом на мыльном пузыре" далеко не уедешь. Разве только в "искусственный рай". Литературной элите и их светским тусовкам свойственно раздувать и превозносить поэтические мыльные пузыри. У снобов нет личного мнения. Они мыслят кланово. Для них характерно этакое духовное лакейство: имеет значение то, что престижно, модно, круто. Если автор умело подаст себя, упакует в нечто экзотическое, глубокомысленное, куртуазное, напустит загадочного туману, создаст себе соответствующую ауру, имидж – его заметят и признают. Суть их не интересует. Важна упаковка, оперение.

Вспомним историю с Черубиной де Габриак. Классический сноб, редактор журнала "Аполлон" Сергей Маковский с пренебрежением отнёсся к стихам поэтессы Е. Дмитриевой – невзрачной учительницы, никому не известной и ничем с виду не примечательной. И тогда Волошин, прекрасно зная эту публику, решил над ней подшутить: подучил Дмитриеву прикинуться загадочной титулованной знатной красавицей с экзотическим именем Черубины де Габриак, после чего те же стихи в новом прямом антураже были встречены тем же Маковским с бурным восторгом.

Однажды со мной произошёл чем-то похожий случай. Я прочитала одному редактору – такому же неисправимому снобу – стихи о любви, которые показались ему весьма незатейливыми:

Угадаешь ты её не сразу,
Жуткую и тёмную заразу,
Ту, что люди нежно называют,
От которой люди умирают...

Стихи эти были удостоены пренебрежительного отзыва как не отвечающие утончённому просвещённому вкусу. Редактор не знал, что это были строки Ахматовой. А узнав, не очень-то и смутился. Ну и что, Ахматова, вчерашний день.

Вот Елена Шварц, это да... Е. Шварц – знамя постмодернистов, обладательница престижных премий, элитарная поэтесса, что называется, не для всех. Цитирую наиболее типичное:

Стихотворение в священном гневе
С диким оскалом во лбу
Прижало к зрачкам своим пьяным .
Золотую (кровь мумий) трубу.
Вскидываясь, плясало.
– Ты разве чужой шаман? –
Я спросила его устало.
Оно упало, привстало,
Бросилось с бубном в туман.
Я вздрагивала со всхлипом
И каялась всей семьёй,
А тайна слова живого
Сыпалась в ухо моё.

Подобные стихи – клад для доцентов от литературы. Учёные-слависты будут с пристрастием докапываться, что же хотела здесь сказать поэтесса. Да ничего не хотела сказать, и ничего не сказала. Смысла здесь нет, потому что нет поэзии, нет "тайны слова живого", о котором она пишет. Перед нами типичный образец поэтической лжи. Вернейший её признак – дурное фантазирование: попытка вызвать в воображении читателя то, что сам автор ни увидеть, ни вообразить не может. Эти "оскал во лбу", "кровь мумий", "золотая труба", прижатая к "пьяным зрачкам", всё это – фальшивое, вымученное, натужное, аморфное словоблудие – вот что это такое. "Словечка в простоте не скажут – всё с ужимкой."

В. Ходасевич не признавал зауми в стихах, считая, что "решать крестословицы – зря потерянное время, ибо... кому охота колоть твёрдые, но пустые орехи?" Он писал:

Я – чающий и говорящий.
Заумно, может быть, поёт
Лишь ангел, Богу предстоящий,
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревёт.
А я – не ангел осяянный,
Не лютый змий, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык.

Переболев абсурдом и заумью в 10-20-х, поэзия вернулась к поэтическому смыслу, к "бессмертному солнцу ума", завещанному нам Пушкиным. Но рецидивы той давней болезни, как видим, встречаются и сегодня.

Кекова шаманит, заговаривает, плетёт словесные кружева:

Но странное имя приходит на ум,
В нём спит драгоценная смысла награда,
Пока укрывается птичий колдун
В прохладной листве Гефсиманского сада.

И снова от наваждения спасает Заболоцкий:

Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарady,
Надевает колпак колдуна.

Чтобы не быть голословной и обвинённой в
"вырывании из контекста" и подтасовках, привожу ещё
несколько образчиков поэтической речи Кековой:

Ни звука о любви – ведь нет надёжных средств,
Чтоб слово и предмет не потеряли сходства.
Что вещество греха? Еда простых существ,
Спасающих себя от похоти господства.

* * *

Смерть бессмертна, пока не исполнился срок, –
Юридический казус, тоски кувырок,
Механических тел клоунада.

* * *

Беззубо скалит зубы голова,
Живущая на небе, словно в ссылке, –
Там нет волос, растущих, как трава,
На темени, висках и на затылке.

Кто любит шарady, кроссворды – могут поупражнять
здесь свои способности. У Кековой зачастую отсутствует
логическая связь между строчками, они пишутся по
принципу "в огороде – бузина, а в Киеве – дядька":

Холодна вода проточная, на восток течёт река,
Появилась буква строчная на листе черновика.

* * *

Зрение и слух зачастую вредят осязанию.
В узком дворе чешую очищаем сазанью.

* * *

Виден в небе Овен сквозь глаз Тельца.
На цветах в июле нежна пыльца.

* * *

Рок по латыни значит "фатум",
И тень твоя взошла на трон.
Мы исчерпали слово "атом",
Найдем другое – "электрон".

Что это? Одному Богу известно.

Бог у Кековой – не поэтическая условность, а реальный персонаж её поэзии. Из стиха в стих кочуют Господь, Христос, ангелы, волхвы, Иуда, Ева, Лилит, Ной... Ни одно стихотворение не обходится без библейских подпорок.

И горькую воду Господь усладит,
И грешникам бедным поможет.
И время навеки застынет для них...

* * *

Пока не пробил час Суда
И мир Господь не сжег...

* * *

Что бы ты ни делал – среди олив
Одичавших будет бродить Христос.

* * *

Жив Христос, и готовит Иуда
К поцелую сухие уста.

Да, поэзия – это разговор с Богом, но не такой же навязчивый и буквальный. Ведь практически в каждом стихе упоминается имя Господа всуе:

Когда Господь протянет руку мне...

* * *

Бог меня, как видно, лишил ума...

* * *

Если свет в окне твоём потухнет,
Бог меня, убогую, спасёт.

* * *

Платок надела чёрный
И плакала, и думала о Боге.

* * *

Вернулся в грешный мир Господь, а это значит,
Что мне не отомстить уже своей вины.

Вот понравилась мне строфа:

То, что жизни и смерти дороже,
Я сегодня куплю за гроши.
Что ж ты водишь ладонью по коже –
Шелковистой изнанке души?

Но как же мало таких строчек, с живой человеческой интонацией, с чуть заметной долей женского лукавства. Только проблеснёт такая жемчужина, а следом, глядишь, опять – Бог, Христос, Иуда... Сколько можно? И не лучше ли читать просто саму Библию без этого сурдоперевода?

Я только форма Твоего огня...

Но где он, этот огонь?

Друг для друга мы сделались безднами,
Чтобы плакать и Бога хвалить.

И только-то? Невелика бездна.

Потому что всё вокруг трепещет,
Слезы ослепительные льёт,
Под луною странным блеском блещет
И хвалу Всевышнему поёт.

Когда-то в эпоху застоя в ходу была такая шутовская присказка:

Прошла зима, настало лето.
Спасибо партии за это.

А здесь за всё – спасибо Богу. Всё в руке Божьей.
Вплоть до абсурда:

Сдав прошение на выезд,
Ждёшь от ангелов вестей.

Долго вести ждать придётся –
Не утопан неба наст.

Вплоть до того, что

...убоявшийся имени Божьего, как сухая трава шелестит.

...деревья шествием икон становятся.

...повсюду молча деревьям стоят иконы.

...сотворённый Богом, сверкает воздух, как алмаз.

...каждый звук немислимых словес
Летит из уст неведомого Бога.

И свет был Богом, как сказал поэт.

В глыбе времени выдолбил
Бог пустое пространство.

Прислушиваться к звёздам я устала,
Но слышу то, что мне диктует Бог.

Бог наделяет нас дарами –
Пространством, временем, сумой.

Всё Бог, Бог, Бог... А что же сам человек? Или от него совсем уж ничего не зависит и он лишь марионетка в руках невидимых сил? А может быть, всё-таки, как пишет сама Кекова в минуту прозрения, –

Пора закончить волхование,
Стать человеком и травой?

В стихах Кековой нет жизни. Это взгляд на мир из монастырской кельи, взгляд человека, лишённого живых человеческих чувств, живых впечатлений бытия. Даже не человека, а бесстрастного и непогрешимого человека-ангела, взирающего на нас, простых смертных, с высоты своего Олимпа. Она уже там, одной ногой в вечности, она выше всех этих мирских дел и страстей, она как бы "над схваткой." Но человек не может быть над схваткой, как роженица не может быть над схваткой, мы все рождаем эту новую жизнь, мы все причастны к её рождению.

Пройти вдоль вод, не замочивши ног,
Из сорных трав сплести себе венок,
Убрать с крутого лба седую прядь,
На дудочке пастушеской играть,
Смотреть, как в небе тают облака,
И петь про то, что будет жизнь легка.

Ой ли? Вряд ли удастся поэту – если он поэт – пройти, "не замочивши ног". Эта пастушеская дудочка оборачивается убийственной дудочкой крысолова, смертоносной волшебной скрипкой, "разрывом аорты" и "гибелью всерьёз", она вообще опасна, вакансия поэта, если не пуста. Это тяжёлое, кровавое дело.

Достоевский когда-то сказал юному Мережковскому, показавшему ему свои первые "невозмутимые" стихи: "Страдать нужно, молодой человек, а потом уж стихи писать". Мережковский так и не научился страдать, его стихи, приобретая мастерство и силу звучания, остались мертвенными, умозрительными, не способными тронуть сердце. Мне кажется, здесь тот же самый случай. В этой стерильной сладкогласности нас "ничто не мучит, не тревожит". Здесь нет той боли, которая "трещиной прошла

через сердце" Гейне. Нет той жажды жизни, которая звала "мыслить и страдать" Пушкина. Нет того, от чего бы, как у Тютчева, "...и сердце на куски не разорвалось..."

Кто-то из классиков сказал, что "стиль – это человек". У поэзии Кековой есть свой стиль, своё неповторимое лицо, которое, правда, мне кажется скорее маской. Причём чуть ли не гипсовой. Трудно представить себе человека, который в нашей реальной жизни – не монашкой в монастыре, не отшельницей где-нибудь в Оптиной пустыни, а здесь и сейчас – жил бы так, как она пишет. "Живём-то, говорю, не на облаке", – как пел Галич.

Однако и сквозь эту неповторимость порой пробиваются знакомые интонации:

Дал Господь мне дожить до Успенья.
Слыша сердца последний удар,
Получила я голос для пенья
И опасный пророческий дар.

Что это, как не Ахматова? Явственно слышится голос позднего Заболоцкого в строчках:

Не видит, не слышит, не внемлет,
Не хочет он знать ничего,
И ветер пустынный колеблет
Материю платья его.

Строка "Злая зима в этом тысяча мёртвом году" вызывает в памяти "Стихи о неизвестном солдате" Мандельштама:

Я рождён в девяносто четвёртом
Ненадёжном году...

А строки

А мы всё плывём и не слышим ни звука,
Но в слове "мука" просыпается "мука" –

почти калька с раннего стихотворения Цветаевой:

Всё перемелется, станет мукой?
Нет, лучше мукой!

А вот это уже явный Бродский:

Так некий дух летал над оголённой степью,
Так звенья наших тел казались Богу цепью,
Так осыпался мак, так строил время плотник,
Так волк среди собак до мяса был охотник...

И хотя такие примеры можно ещё длить – всё же, надо сказать, они для поэзии Кековой нехарактерны. Свой, узнаваемый с первых же звуков голос, в ней безусловно присутствует.

Бродский как-то сказал о стихах Ахматовой, что "это поэт, с которым более-менее можно прожить жизнь." О стихах Кековой этого не скажешь. С ними только умирать хорошо, сладко мечтая о том свете.

Вижу, вижу смерть другую,
Знаю смысл её и цель,
Вижу плоть её нагую,
Лона маленькую щель.

* * *

Как облик смерти смертным чужд! Глаза её узки.
Она огонь для наших нужд разрежет на куски.

* * *

Смерть твоя в земле найдётся,
Руку тонкую подаст.

* * *

Засыпай, ребёнок глупый,
Смерть свою рукой нащупай...

* * *

Слезы призрачной смерти пролей ты. . .

* * *

Как близится смерть в шутовском колпаке,
Надетом на лысую голову. . .

* * *

В нас смерть, как в море, мечет невода. . .

* * *

Каждый сам себе мучитель, и учитель, и отец,
Жалкой жизни расточитель, смерти маленький светец.

* * *

Растопи же свою свечу,
Чтоб гадать мертвецам на воске.

* * *

И вот лампада деревянным маслом
Наполнена, и сон на духов наслан...

В этих стихах нет звуков и запахов живой жизни, от них веет затхлостью древних папирусов, церковным ладаном,

могильным тленом. Кажется, таким языком заговорила бы ожившая египетская мумия. Маяковский писал, что когда он впервые услышал голос Есенина, ему показалось, что "так заговорило бы ожившее лампадное масло." По отношению к Есенину это, на мой взгляд, сильно преувеличено. А вот к стихам Кековой голос "ожившего лампадного масла" очень бы подошёл. Как это у Вертинского? – "Ваши пальцы пахнут ладаном."

А время шло. Вокруг текла вода.
И мертвецы, питаясь пищей скудной,
Молились и мечтали иногда,
Что смерть пройдёт и День настанет Судный.

* * *

Рвётся саван заштопанный,
Ибо он на нитку живую зашит.

* * *

Чай в фарфоровом чайнике плещется,
В тесном ящике кости гремят.

* * *

А иссохшую мумию слова
Положили в пустой саркофаг.

Даже природа у Кековой какая-то кладбищенская, неживая:

Мёртвые ели ведут к аналою
Еле заметные тени берёз.

* * *

И тайной смерти мета,
Геральдика иного бытия
Угадывалась мной в листе узорной.

"Пахнет ладаном можжевельник", "в Елшанке ели расточают ладан," "копошатся, как мелкие черти, муравьи в муравьином аду", "небо в звёздах как тело в коросте", "луна, как кошка, лижет стынущие руки в вечном холоде разлуки", "сердобольный маленький паук сшивает саван на живую нитку", "и опёнки в рубашках коричневых на гнилых изгибаются пнях."

Холодный, мертвенный, выморочный мир. В одном из стихотворений Кекова пишет, что стихи, "как сказал Мандельштам, нам напомнить должны винограда мясные волокна". Если дословно, то у Мандельштама "язык освежит" "виноградное мясо стиха." Так вот стихи Кековой это освежающее "виноградное мясо" никак не напоминают. Бесплотный призрак, скелет, святые мощи – да, а мяса, плоти

стиха у неё не чувствуешь. Один дух, да и тот на последнем издыхании.

* * *

Свет бесплотный, серебристый дождь кислотный....

* * *

И, напрягая зрение и слух,
Заглядывает в окна беглый дух,
Как бы скелет с приросшей к рёбрам плотью.

* * *

Но в конце судьбы короткой, на исходе грустных лет,
как в стакане с царской водкой растворяется скелет.

* * *

Мы – живые свечи – огнем не горим, а тлеем.

* * *

Только милостив Господь, и на маленьком погосте
Обретают снова плоть мертвецов сухие кости.

* * *

Нет ни в жилах любви, ни в костях,
Ни в поношенном саване белом.

* * *

И будет мир молчать, как поезд похоронный...

Стихи Кековой – это ледяной дом, ледяной гроб. В них, как в царстве снежной королевы – холодно и мертво. Чем-то они напоминают стихи Сологуба:

Мы устали преследовать цели,
На работу затрачивать силы,
Мы созрели
Для могилы.
Отдадимся могиле без спора,
Как малютки своей колыбели,
Мы истлели в ней скоро
И без цели.

В 1912 году М.Горький опубликовал свою сказку о поэте Смертяшкине – убийственную сатиру на поэтических проповедников пессимизма. Герой этой сказки поэт Евстигней Закивакин начинает свою поэтическую карьеру с объявлений в стихах для похоронного бюро:

Бьют тебя по шее или в лоб –
Всё равно ты ляжешь в тёмный гроб.

Честный человек ты иль прохвост –
Всё-таки оттащат на погост.

Правду ли ты скажешь иль соврёшь –
Это всё едино: ты умрёшь.

После чего Закивакин перешёл в новый прогрессивный журнал для юношества "Жатва смерти" и взял себе гордый псевдоним Смертяшкин. "И с того дня, – пишет Горький, – постигла Евстигнейку слава: прочитали жители стихи его – обрадовались: – Верно написал, материн сын! А мы живём, стараемся кое-как, то да сё, и незаметно нам было, что в жизни-то нашей никакого смысла, между прочим, нет. Молодец Смертяшкин!

И стали его на вечера приглашать, на свадьбы, на похороны да поминки, а стихи его во всех модных журналах печатаются по полтине строка, и уже на литературных вечерах полногрудые дамы, очаровательно улыбаясь, читают поэзы Смертяшкина:

Нас ежедневно жизнь разит,
Нам отовсюду смерть грозит!
Со всяких точек зрения
Мы только жертвы тления!

Браво! Спасибо-о! – кричат жители."

Но мы так кричать не будем. А скажем опять-таки строчкой самой Кековой: может быть, не стоит

"и словами соря бесполезными,
Неживым языком шевелить"?

В 19 веке был очень моден поэт Бенедиктов. Литераторы и петербургские чиновники были от него в полном экстазе. И только Белинский осмелился поставить под сомнение дар Бенедиктова, не оставив от него камня на камне в своей статье, чем навлёк на себя гнев всей прогрессивно мыслящей литературной общественности. Но время подтвердило его правоту. Недавно мне попала на глаза эта статья, и меня поразили многие её суждения сходством с моим впечатлением от стихов Кековой. Ну вот, например:

"И между тем, спрашиваю вас, неужели это поэзия, а не стихотворная игрушка, неужели эти выражения вылились в вдохновенную минуту из души взволнованной, потрясённой, а не прибраны и не придуманы в напряжённом и неестественном состоянии духа, неужели это бессознательное изливание чувства, а не набор фраз, написанных на тему, заданную умом? И взглянитесь пристальнее в этот фальшивый блеск поэзии: что вы найдёте в нём? Одно уменьье, навыв, литературную опытность и вкус."

И вот эти цитаты вполне могли бы, на мой взгляд, быть отнесены к её поэзии: "Не сразу могут отличить поддельное вдохновение от истинного, риторические вычурности от выражения чувства, галантерейную работу форм от дыхания жизни."

"Цветистая фраза принимается за мысль, за чувство, стихотворные гримасы – за оригинальность и самобытность."

"Стихотворения Бенедиктова обнаруживают в нём человека со вкусом, который умеет всему придать колорит поэзии, иногда обнаруживают превосходного версификатора."

"Простота языка не может служить исключительным признаком поэзии, но изысканные выражения всегда могут служить верным признаком отсутствия поэзии. "Тёмные, затейливые мысли, разложенные на чистые понятия и теряющие от этого всякий смысл, отличают одну риторическую шумиху, набор общих мест".

Я снова и снова перечитываю стихи Кековой, стараясь быть объективной и честной перед собой. Может быть, всё же не права, чего-то недопонимаю, не доросла до высоты их величия, грандиозности поэтического масштаба? И ловлю себя на том, что делаю это с усилием, заставляю себя читать. А это нехороший признак. Настоящая поэзия читается взахлёб, от неё невозможно оторваться. (Не помню, кто из классиков сказал о каком-то поэте: "Не читать его – преступление, но читать его – наказание.")

Думаю, даже знаю – у многих такое же восприятие её поэзии. Но... Срабатывает синдром "голового короля". Каждый боится обвинения в том, что, дескать, не дорос, недопонял, недопустил, и спешит "отметиться" на очередном поэтическом вечере литературной звезды, засвидетельствовать свою причастность к "высокому искусству". Я, мол, из касты избранных, посвящённых, белая кость, элита. (Был такой анекдот о снобах: "Вы читали Кафку?-Отнюдь. ") А спроси такого читателя-почитателя, – что он вынес из чтения? Запомнил хотя бы одну строку? Сомневаюсь. Когда закрываешь книгу, в голове ничего не остаётся, одна кисло-сладкая муть.

"Бойтесь эстетов, – писала Цветаева Бахраху. – Эстетство – это бездушие. Замена сущности – приметами. Эстетство – это расчёт. Взять всё без страдания, даже страдание превратить в усладу. Дитя, не будьте эстетом! Не любите красок – глазами, звуков – ушами, любите всё душой. Эстет – это мозговой чувственник, существо презренное. Все пять чувств его – проводники не в душу, а в пустоту."

И снова вернёмся к Заболоцкому. Так что же такое поэзия? – перефразировала бы я его строки о красоте. "И почему её обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота? Или огонь, мерцающий в сосуде?"

Или. Огонь. "Тайный жар" стиха, который, как писал Блок, "тебе поможет жить." И "красотою, лишённую смысла", "золотым сном" разума его не подменишь.

Русофобия

Мне не нравится, когда любовь к Родине принимает форму шовинизма и воинствующего национал-патриотизма, когда под видом национального самосознания, поисков исконных корней проповедают расистские взгляды. Иногда это происходит неосознанно, но душок всё равно остаётся неприятный.

Как-то на моём вечере, посвящённом Заболоцкому, один слушатель захотел дополнить лекцию и стал говорить о "чисто русских корнях" поэта. Говорил долго, акцентируя, что Заболоцкий именно русский, что корни у него "не немецкие, не татарские, не еврейские, а именно русские!" Хотя я уже сказала перед этим, что родился он в Вятской губернии, и этим, по-моему, всё сказано. А что, если бы корни у него были немецкие, как частично у Цветаевой и Блока, или татарские, как у Ахматовой, или монгольские, как у Державина, или еврейские, как у Фета, или прости господи, африканские, как у "нашего всего" – они от этого были бы менее русскими? Разве это что-то меняет в нашем отношении к поэту и его поэзии? Он русский, потому что родился в России, потому что говорит и думает по-русски, этого достаточно.

Другой слушатель написал мне в тетрадь отзывом такой сомнительный комплимент: *"Наталия Кравченко, судя по фамилии и внешности, украинка, этим и объясняется необыкновенная прелесть её вечеров."* Ну неужели же только этим?

Этот слушатель позже мне позвонил. Представился: независимый журналист Александр Зазыбин. Сказал, что хочет взять у меня интервью, написать статью о моём творчестве. Говорил о нём много тёплых, хороших слов. Потом разговор зашёл о лекциях, я посетовала на то, что газеты практически не дают на них объявлений.

– Какие газеты? – поинтересовался журналист. Я стала перечислять, загибая пальцы:

– "Саратовские вести", "Саратов СП", "КП в Саратове", "Саратовский Арбат", "Богатей"...

– Позвольте, – недоумённо перебил меня Зазыбин. – Почему не дают? Ведь это же нерусские газеты.

Теперь уже настала моя очередь недоумевать. Что

значит – нерусские? Редакторы евреи? Направленность не такая, как у "Завтра"? И что, если "русские газеты" ("Земское обозрение", "Саратовская панорама") не дают объявлений на мои вечера, то в таком случае это, значит, в порядке вещей?

Оказывается, мой собеседник именно так и думал. Он считал, что я принадлежу к тому, "нерусскому", враждебному лагерю. И делал исключение для меня лишь в силу моей недалёковидности и неопытности, видя в моём лице невинную, запутавшуюся жертву мирового сионизма. Но это уже потом до меня дошло. А поначалу я ничего не понимала.

– Вы просто не располагаете всей информацией... Не представляете всей опасности... У Вас это не от глубины идёт, – мягко оправдывал меня в своих глазах журналист.

– Да что идёт?! Что Вы имеете в виду?

– У меня телефон прослушивается. Я бы не хотел...

– Вот и пусть слушают! В чём дело-то?

Но я уже стала догадываться. На столе лежал последний номер "Земского обозрения" ("Туземское обозрение", как называют её "нерусские" газеты) с дежурной статьёй на излюбленную тему. Стиль впечатлял: "Когтистые, в кучерявой шерсти алчные лапы творцов всемирной паутины тянутся к самому сердцу Родины..." И вот эти длинные "когтистые лапы" дотянулись и до моего сердца. И своротили его с пути праведного.

– А Вы знаете, что у Вас в Саратове репутация русофоба? – огорошил меня Зазыбин.

Впрочем, не совсем огорошил. Однажды я уже слышала эту реплику из уст С. Иванова – директора православной гимназии, автора многих песен на мои стихи. Как-то он хотел пригласить на мою лекцию кого-то из знакомых, но тот отказался идти из-за того, что мои лекции "заражены русофобией." Тогда я только посмеялась над этой чушью. Но теперь мне было уже не до смеха. Я медленно закипала.

– Кто же так считает?

– Ну, в кругах, близких к писательским.

– Надеюсь, Вы возразили?

– Но... Основания, надо сказать, для этого есть.

– Что-о?! – Я чуть не упала со стула. – Русофобия – это ненависть к России. Где у меня это, хоть в одной лекции, хоть в одной строчке? Где?

"Не даёт ответа." Допытываюсь, кто же распространяет эти гнусные слухи.

– Я бы не хотел называть имён...

Понятно. Опять "шкоды под кодом." Удивляет необычайная застенчивость этих русолюбов. Если уж вы считаете, что я такая, что такой вред России наношу своей деятельностью,

так покажитесь, откройте личико, назовите себя. Скажите открыто, докажите, что это так. Что ж вы по кустам-то прячетесь? Как-то это не по-русски.

Видимо, "русофобией" эти господа называют мои выступления – устные и письменные – против антисемитизма. Я даже одну лекцию посвятила этой больной проблеме Саратова. И писала об этом в книге "Звезда или хлеб?" (весь тираж в 300 экземпляров разошёлся, не осталось ни одной книжки), в главах "Призрак шовинизма", "Пасынки России", "Человек мира." Р. Арбитман в рецензии на неё писал тогда: "Её сборник публицистики, подозреваю, вызовет гневное разлитие желчи у тех граждан, кто любит родину по-макашовски." И действительно вызвал. И до сих пор этой жёлчью они исходят. Это не у меня русофобия, это у них ксенофобия. Но объяснять что-либо нашим национал-патриотам бесполезно, я это еще на той лекции поняла. У них антисемитизм в крови. Это что-то атомарное, биологическое, точнее, зоологическое. Говорить с ними на эту тему бессмысленно. Логика не действует. Стена. Пропась.

А началась вся эта история ещё с выхода моего второго сборника "В логове души" в 1994 году, по адресу которого поэт-патриот И. Малохаткин разразился яростной филиппикой в местной газете. Его праведный гнев вызвали мои "непатриотичные" строки, а именно:

Тупая, кровавая родина,
Вовек мы тебя не отмоём.
Обобраны, преданы, проданы,
В твоих околеем помоях.

Я уже не раз отвечала по этому поводу, не буду повторяться. Хочу лишь привести слова Философова: *"Россия не потому больна, что мы мало её любим, а потому, что мало ненавидим её болезнь."* Патриотизм не в том, чтобы славить, а чтобы болеть душой за то, что происходит в стране.

Когда мы научимся понимать разницу между патриотизмом истинным и мнимым, между фразой и делом, между гордостью и спесью?

Особенное негодование Малохаткина тогда вызвали мои строки об Израиле:

Я тобою ранена, я больна тобою.
Русь моя, окраина, небо голубое!

Всю тебя изграбили, но, и обвиняя,
На луну Израиля я не променяю.

И хотя я здесь, кажется, ясно выразилась, что не променяю, Малохаткин позволил себе усомниться в моих

намереньях и уверял в статье, что обмен не произошёл лишь по причине малости луны Израиля, а вот на большую американскую луну состоялся бы наверняка. На что я могла бы ответить, как Высоцкий: "Не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь – я не уеду!"

Дело давнее, мною уже подзабытое. Но, оказывается, мне этого – "в кругах, близких к писательским" – забыть никак не могут. Пеняют, что нет у меня "стихов, восхваляющих родину." Подсчитывают, сколько лекций я провела о поэтах еврейского происхождения. Им кажется, что непростительно много. И в самом деле: О. Мандельштам, Б. Пастернак, В. Ходасевич, С. Парнок, И. Елагин, И. Бродский, А. Галич, Н. Коржавин, А. Кушнер, Л. Миллер... Просто сионистка какая-то.

А вот мои слушатели иного мнения. И пишут мне в тетради отзывы совсем иные слова:

"Спасибо за преданность поэзии, за просветительство, за любовь к слову. Лев Горелик".

"Волишебный мир жизни русского духа, русской поэзии, любви, романтики Вы открыли нам в этот зимний морозный вечер. Проф. СГУ В.А. Седавкина, Н.А. Соболева, доцент СГТУ Н.М. Ярцева."

"Для Саратова – это явление культуры с большой буквы. Я.Л. Погорелов."

"В наше смутное, меркантильное время получить такой большой глоток духовной пищи – большое счастье. Спасибо, Наташа. И. Духовникова."

"Спасибо за память о поэтах, за благородство воспоминания. С уважением Г.Г. Широкова."

"Большое спасибо за цикл "Забывтые имена". Открываете нам не только новые имена, но и подарили нам струны сердца золотые. М.А. Квардина, Т.С. Петрянина."

"Безмерная благодарность за беззаветное служение высокому искусству – поэзии. Н.С. Войцеховская, педагог."

"Сидел и думал: не всё ещё перевернулось в мире, и потребность сеять разумное, доброе, вечное не чужда в нашей России до сих пор. Огромное спасибо за возможность приобщиться к Великому. Валериан Морозов."

"Милая Наталия Максимовна! Большое спасибо Вам за Ваши беседы. Они согревают наши души, наполняют оптимизмом. Спасибо за труд писателя-поэта, одухотворённого, глубокого. Ветеран педагогического труда А.В. Рать-ковская."

"Оазис редкостной духовности и душевности! Вот что такое для нас Ваши замечательные вечера. Спасибо за Вашу гражданскую человеческую душу, за тот нездешний свет, что несёте жаждущим и страждущим. Н.К. Думова."

И что, все эти идущие из глубины сердца слова, моя радость и гордость, моё оправдание на том свете – всё это может быть написано русофобу, ненавидящему свою страну, злостному врагу народа, каким меня стремятся выставить "круги, близкие к писательским"? Какой же патриотизм они хотят противопоставить моему?..

Недавно бросили нам в почтовый ящик бесплатную газету "За народовластие"(накануне выборов). Там на самом видном месте нахожу стихотворение Н. Куракина под названием "Русский вопрос". Цитирую первые строки:

Теснятся словеса и слоги.
Я потакать им не берусь,
Пока поэтикой дороги
Мне душу возвышает Русь.

В ней всё и вся соединилось,
В ней боль моя и жизнь моя,
И Богом даденная милость
С неоспоримостью жнивья.

Ну, и так далее, как говорил Хлебников. Стихи, чего уж там, оставляют желать много лучшего. Но дело не в них. В заметке, сопровождавшей сей опус, много восторженных слов было сказано во славу "патриотических убеждений" автора, которых "невозможно скрыть": *"патриотизм так и хлещет, бьёт живой струёй из прекрасных гражданских стихотворений Н. Куракина"*, – пишет И. Бакалова. Такая вот "живая струя" Пегаса.

Достала последний сборник поэта-гражданина Куракина. Открыла: "Люд ты мой русский! Стонуший, страждущий..." – с фальшивым псевдонекарасовским пафосом витийствует автор. Закрыла. Открыла книжку стихов М. Муллина: "О бедный мой запутанный народ!" – кликушествует и этот. И здесь та же "струя." Помнится, Гумилёв говаривал Ахматовой: "Аня, удуши меня, если я когда-нибудь начну пасти народы." А эти – пасут, и ничего.

Мирные стада патриотов преобразуются в стаи хищных хорьков, когда им померещится что-то нерусское. Они бдят. Их не проведёшь. Они раскусят любую "задумку хитрецов". Например, чего удумали, подлые: "Всех норвят с экранов и трибун нас называть по имени... с фамилией." То есть без отчества. А зачем, думаете, им это надо? "Внедрившие" сию "задумку", оказывается, "о шкурной пользе ведали – придумали...желая скрыть отцов, которые Россию трижды предали." "Не отрекусь от батюшки Семёна!" – надрывно вопиет поэт. Я внимательно рассмотрела обложку, авантитул. Отчества "Семёнович" нигде не обнаружила. "Михаил Муллин." И точка. Что ж он нам

голову морочит? Почему не величает себя по батюшке, как от нас требует?

Мне отчество вошло не в графы – в гены.
С его забвеньем малость подождём!

Да ради бога! На здоровье. Кому нужно его отчество? Кто на него покушается? Где этот вражина?

Я не байстрюк и не сураз презренный –
В законном браке от отца рождён. –

гордо заявляет Муллин о своём законном происхождении. Это чванство мне отвратительно. Неужели же это повод для гордости? Вот в новейших исследованиях (В.А. Захаров. "Загадка последней дуэли", Москва, "Русская панорама", 2000) на основе архивных материалов утверждается, что Лермонтов на самом деле сын кучера из их имения. То есть, по изысканному выражению Муллина, байстрюк. Так же как и Жуковский, и Фет, "неполноценность" которого усугубляется тем, что истинный его отец – еврей. Так что ж теперь, Муллин имеет неоспоримое преимущество перед ними? Если б жил в то время – поди и руки бы им, "презренным", не подал.

"Я сын отца, а не полка." И это тоже не его заслуга. "Не попугай мне песни пел, а Сирина." Какой ещё Сирина? Петух какой-нибудь. "Меж лип, а не маслин." Маслины-то чем виноваты, господи. Чем они хуже лип? Как и попугай ни в чём не повинный. (Который, кстати, "петь песни" не умеет). Или это намёк на ту вражью местность, где они обитают?

Я знаю тех, кто над анкетой бьются,
Чтоб их отцов не угадал народ.

А вот это уже конкретнее. По поводу анкет. Неужели Муллина неизвестно, почему русские евреи вынуждены были ломать головы над анкетами? Кто их к этому вынуждал? Да потому что, как пел Высоцкий, "за графу не пускали пятаю". Не пускали в любимый ВУЗ, на творческую работу. Не важно – насколько ты умён, талантлив, трудолюбив, профессионален. Это кадровиков не интересовало. Пресловутый пятый пункт в паспорте был приговором, позорным клеймом. Вот и выбирай – гордиться отчеством "Самуилович" и быть отовсюду отторгнутым, как шелудивый пёс, или переделать его на русское "Семёнович" и этим открыть себе двери к образованию и работе.

Вспоминаются строки Инны Лиснянской – тоже об отце, между прочим:

Мой отец – военный врач,
Грудь изранена.
Но играй ему, скрипач,
Плач Израиля!
...Бредит он вторую ночь
Печью газовой.
– Не пишишь еврейкой, дочь, –
– мне наказывал.

Что, и в неё Муллин бросит свой камень?

В нынешнее время, когда идеология уже не играет первую скрипку, и больше стали цениться деловые качества, необходимость в "корректировке" анкет отпала. Но антисемитизм – ирреальное чувство, сродни звериному инстинкту и классовому чутью, он не поддаётся контролю разума. Особенно процветают эти настроения в нашем Союзе писателей. Несколько примеров.

Заходит туда молодой поэт. Хочет вступить в Союз. Один из наиболее рьяных блюстителей чистоты расы – думаю, все там хорошо знают его фамилию – интересуется его происхождением.

– Я полукровка, – чистосердечно отвечает тот.

– Много вас тут таких ходит!

Не верите? Я тоже не поверила, когда мне это рассказали. А вот второй эпизод. Принимают в Союз поэта. Талантливого, что тут редкость. Но... Всё тот же "русский вопрос".

– Что мы тут жидов всяких принимаем! – раздаётся голос одного из чистокровных. Глава писательского союза мягко пожурил скандалиста.

– Мы тут обсуждаем стихи, а не национальность, – сделал он ему замечание. А что, национальность в принципе можно обсуждать?

Писатель-сказочник Михаил Каришнев-Лубоцкий был вынужден в своё время вступить в Союз российских писателей Москвы, так как в местном Союзе кой-кому не понравился его профиль. Тогда он, кстати, был просто Лубоцким, что было с его стороны крайне неосмотрительно. Вскоре после этого он вспомнил о более русской фамилии своего деда и стал Каришневым-Лубоцким. Ну да что ж после драки кулаками-то махать. Впрочем, думаю, и полурусская фамилия дела бы не спасла. (Как в том анекдоте: бьют не по паспорту.) Когда по радио была о нём передача, Макеева задала "бестактный" вопрос, почему он не был принят в нашем Союзе. Лубоцкий смущённо пробормотал: "Жизнь полна анекдотов." Скверных анекдотов, как сказал бы Достоевский. При случае я спросила его – почему не сказал правды? И тут же осеклась – какая правда, боже мой, кто бы

её пропустил по нашему радио! Вспомнились строки Бориса Чичибабина: "Всё погромней, всё пещерней, время крови, время черни..."

Однажды на мой вечер в библиотеке, посвящённый Чичибабину, пришёл Муллин. На чей-то вопрос потом – ну как? – ответил уклончиво: "Не во всём согласен." Тогда я не обратила на его слова внимания, а сейчас, по прочтении его книги, мне стало ясно, с чем он не согласен. ("Концептуально не согласен", – как выразился Куракин в отношении стихов Кековой.) Не таких стихов ожидал Муллин от Чичибабина, вроде бы русского по всем статьям, ох, не таких!

Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
Не водись я с грустью, золотой и горькой,
Не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
Не войди я навек частью безымянной
В русские трясины, в пажити и реки,
Я б хотел быть сыном матери-еврейки.

Такие откровения повергали в ярость чиновников от литературы. А Чичибабин, словно дразня их, писал:

Солнцу ли тучей затмиться, добрея,
Ветру ли дунуть –
Кем бы мы были, когда б не евреи –
Страшно подумать.

Чичибабин яростно ненавидел антисемитов. Эта тема звучит во многих его лирических стихах, адресованных жене Лиле Карась, которая была еврейкой.

Ты древней расы, я из рода россов,
И хоть не мы историю творим,
Стыжусь себя перед лицом твоим.
Не спорь. Молчи. Не задавай вопросов.
Мне стыд и боль раскраивают рот,
Когда я вспомню всё, чем мой народ
Обидел твой...

Чичибабин пытается спасти честь народа русского. Его поэзия неотделима от совести, чувства вины. Это давняя традиция русской культуры: всегда быть на стороне обиженных, униженных, тех, кого травят, кому плохо. "Все поэты – жида", – пишет Цветаева. "Кто в наши дни мечтатель и философ – тот иудей", – вторит ей Чичибабин.

Я самый иудейский меж вами иудей.
Мне только бы по-детски молиться за людей.

Для Чичибабина национализм – ругательное слово. Он не может быть спокоен, пока этот позор России лежит пятном на ней. Он любит Родину, но прежде всего служит совести,

как родине нравственной. Вот стихотворение, написанное им в 69-ом, а как актуально!

Бессмыслен русский национализм,
Но крепко вяжет кровью человечей.
Неужто мало трупов и увечий,
Что этим делом снова занялись?

Ты слышишь вопль напыщенно-зловещий?
Пророк-погромщик, осиянно-лыс,
Орёт в статьях, как будто бы на вече,
И тучами сподвижники нашлись.

"Всех бед – кричат – виновники евреи,
Народа нет корыстней и хитрее –
Доколь терпеть иванову горбу?.."

Муллин, по-видимому, один из таких "сподвижников." Читаю его стихотворение "Покупка счастья" – о том, как мужик "просит, требует и блажит: – Дайте счастья на тридцать сребренников!" – (Иуда, что ли?) – Не дают. "Но один продавец, крючконосый и обаятельный, всех встречающий по уму... – (это пояснение для тупых, до кого не дошла подсказка с "крючконосым") – отмеряет – по сумме, тщательно – до вершка... верёвки ему." Вот оказывается кто виноват в народных нищете и несчастье. Крючконосые. У кого ума индо шибко много. Ату их!

Это вот такие "сподвижники" подписывали петиции в защиту Соснина, зовущего "Русь к топору" против евреев, слава богу, благополучно осуждённого, наконец. Это о таких писал Чичибабин:

От крови и от слез я слышу и не внемлю:
Их столько пролилось в отеческую землю,
Что с душ не ототрёт уже ни рай, ни ад их –
А нищий патриот всё ищет виноватых.
Вишь, умник да еврей – губители России,
И алчут их кровей погромные витии.

Любопытно, что когда Муллин дал это своё погромное стихотворение для публикации в "Саратове литературном", то даже там, в СП(!) сочли, что "крючконосый" – это уж слишком, и исправили на "развесёлый". Чем повергли автора в неопишемую досаду. Ведь в этом-то "крючконосом" – вся соль! Ради этого, можно сказать, всё стихотворение написано.

Но зато уж в другом стихе, "Перо", посвящённом "Вечному жиду", Муллин взял реванш. Оттянулся, что называется, по полной программе.

В прагматизме всё давно старо...
Как-то на беду
Подарили вечное перо
Вечному жиду, –

который и пишет с тех пор "вечное враньё. "

Той же гнусной злобой обуян,
Псевдонимы лишь меняет, хам:
То он Ярославский Емельян,
То он Терц Абрам.

Читал ли Муллин Абрама Терца, которого по-хамски позволяет называть себе хамом? То бишь крупнейшего русского литературоведа Андрея Синявского, избравшего для зарубежных публикаций провокативный псевдоним Абрам Терц? Хотя бы его изумительные "Прогулки с Пушкиным"? Или ненавистная фамилия Терц ему этого не позволила сделать?

Читаю другое стихотворение, "Русская печь", где автор поёт хвалу русской печи, что его взрастила и вскормила, и тем блюдам, которые в ней готовились.

Я потом в Метрополе бывал,
Но таких уже блюд не едал.

Ну что ж, дело, как говорится, вкуса. Кто любит арбуз, а кто – свиной хрящик. Но к чему такой пафос?

Отчего никакая халва
Заменить мне лапши не смогла?

А если я люблю, например, больше халву, так что, я уже русофоб? Станный, однако, критерий патриотизма, который измеряется лапшой. Уж не той ли, что вешается нам на уши вот такими стихами? Кстати, наша российская лапша мало чем отличается от итальянского спагетти. Так что не очень удачный примерчик своего патриотизма подобрал здесь поэт. Взял бы какую-нибудь редьку с луком, что ли.

Почему эскалоп и лангет
Не заменят мне сельский обед?

Эскалоп, да будет известно Муллину, это всего лишь ломти нежирной свинины, баранины или телятины, а лангет – всего лишь блюдо из вырезки, а вовсе не какие-нибудь еврейские фамилии. И почему они не могут заменить сельский обед привередливому поэту, мне непонятно. А, вот почему, оказывается:

Потому что из снежных полей,
Из далекой деревни своей
(метрдолеть уж кричи – не кричи)
В Метрополь я въезжал на печи!

Ну что ж, это давняя русская традиция, Дунька тоже в Европу ездивала. Кстати, я всегда эту сказку не любила. Мечта иждивенца: на чужом горбу, как на чудо-печи, в рай въехать. И оттого, что печь эта – русская, иждивенец для меня не станет симпатичней.

"Соловей бетонной хаты и агностик", как именуется себя Муллин, прежде всего – страстный патриот своей Родины. "Русскость – как роскошь для меня", – пишет он. А для меня это естественное состояние, как воздух, которым дышу. Я не могу жить без этого воздуха, задохнусь без него, но мне не приходит в голову им гордиться или рядиться в него, как в роскошные одежды. Не помню, кто это сказал: "Гордиться тем, что родился русским – всё равно что гордиться тем, что родился во вторник. "

Я из чаши восторгов испил,
Испытав русофильскую негу. . .
– пишет Муллин.

И сказал мне восторженный враль,
Сладострастно смыкающий веки: –
Здесь причалил воздушный корабль –
И остался в России навеки!

Ну прямо полный оргазм. Слова-то какие: "сладострастно", "нега", "восторги"... Вот только как ни взбадривай своё патриотическое либидо виагрой подобных строчек – у читателя ответного оргазма это не вызывает. Другим местом он Россию любит в отличие от "сладострастных вралей."

Как актуально звучит сейчас предостережение Чичибабина, обращённое некогда к Солженицину:

Лишь об одном тебя молю в пылу, боюсь, что запоздалом:
Не поддавайся русохвалам, на лесть гораздым во хмелю!

Подлинное чувство никогда не кричит о себе, оно довольствуется сутью. И в заключение – несколько поэтических цитат в качестве красной тряпки для быка квасного патриотизма:

Прости мне, родная страна,
За то, что ты так ненавистна.
Олег Чухонцев

Моя Родина, ты гадина,
И стоишь на подлецах.
Леонид Губанов

Как ненавистна, как немудрена
Моя отчизна – проза Щедрина.
Борис Чичибабин

В этих строках больше любви к Родине и боли за неё,
чем в сладострастных столах иных русофилов и ксенофобов.

Как я не стала телеведущей

Эта история случилась со мной в сентябре 2001 года. Как-то вечером мне позвонил Амусин. Сообщил, что могу его поздравить: он теперь редактор "Орбиты". Что нынешний глава телевидения – бывший то ли гинеколог, то ли венеролог – Сергей Утц – его сосед и друг, и теперь они вместе будут ворочать большими делами. А звонит он потому, что скоро у них открывается новый канал "Культура", на котором он хочет мне предложить вести передачи о поэзии.

Я давно знала, что с Амусиным лучше не связываться, самые благие его намерения всегда в конечном счёте выходили мне боком: публикация в "Комсомолке", где он раньше работал, моих материалов о Цветаевой и Парнок была снабжена им гнусной фотографией лесбиянок из "Плейбоя" (вместо эксклюзивного фото из архива Парнок, что дала я), подборка стихов в "Сканворде" отравила всю радость дичайшими смысловыми опечатками (оттого, что ему "западло" было самому вычитывать полосу), отправка моих стихов в журнал "Арион", которую он мне сам предложил, оказалась обманом (послал лишь себя, любимого), и я, как дура, зря перепечатывала, а Давид зря отвозил, словом, я уже зареклась иметь с ним когда-либо дело. Но тут он сделал предложение, от которого, как говорится, нельзя было отказаться.

Вести такие передачи было моей давней мечтой. За пятнадцать лет лекционной работы у меня накопилось более ста тем, от поэтов средневековья – до наших дней, не только русских, но и зарубежных, причём лекции были подготовлены по новейшим материалам, содержали множество малоизвестных интересных фактов и подробностей. Телевизионная трибуна была счастливой возможностью донести всё это богатство до огромного числа людей, намного увеличила бы "поголовье" любителей поэзии. Поэтому я, не раздумывая, согласилась в надежде, что на этот раз об этом не пожалею.

Через несколько дней произошла моя "судьбоносная" встреча с Утцом, первым заместителем главного. Это был элегантный современный молодой человек весьма приятной

наружности, деловой, собранный, хваткий, перспективно мыслящий и чётко излагающий свои мысли. О таких говорят: "Способный. Очень способный. Способный на всё." Я, разложив перед ним свои "рекомендации": абонементы, книгу опубликованных лекций, тетрадь отзывов, – пыталась посвятить в свои творческие замыслы. Но чувствовала, что особенного отклика они у него не находят.

– А может быть, Вы лучше о романах расскажете? – спросил он вдруг. От неожиданности я потеряла дар речи.

– Почему... о романах? Я вообще-то поэзией занимаюсь. Это не по адресу.

Но Утц стал увлечённо говорить о романах, о том, как интересно можно было бы построить эту передачу. Я прервала его.

– Нет, романы – это не ко мне. – И уже собралась уйти. Утц поскущел. Вздыхнул.

– Ну что ж. Поэзия так поэзия.

("Кальпиди так Кальпиди" – вспомнилась строчка Бориса Рыжего). Чувствовалось, что поэзия – это не по его части. Впрочем, не обязательно же ему быть эрудитом и книгоманом, – успокаивала я себя. Ведь есть же, в конце концов, референты, консультанты...

Увы. Яркий пример "консультирования" мне довелось тут же там наблюдать. В кабинет к Утцу вбежали всклокоченные мужчина и женщина. Они трясли бумажками с планом и в панике, перебивая друг друга, кричали, что нужно срочно сдавать в выпуск передачу о Волконской, а названия у неё всё ещё нет.

– Срочно нужна какая-то цитата!

Утс перевёл зыскуюющий взгляд на Амусина. (Тот сидел рядом со мной.) Оказалось, что он-то и есть этот самый консультант. Амусин среагировал молниеносно. Он поднял палец вверх и весомо изрёк:

– Записывайте. "Звезды её печальные глаза."

Телевизионщики с уважением переглянулись. Почтительно записали цитату и чуть ли не на цыпочках закрыли за собой дверь. Утц, извинившись, в очередной раз куда-то отлучился. Мы с Амусиным остались одни.

– Слушай, – озадаченно сказала я. – Что-то я не припомню ни у кого этой цитаты.

– Этой цитаты, – прошептал он мне доверительно на ухо, – в природе не существует. Но ты смотри никому! – спохватился он. – Это я тебе по дружбе сказал.

(Дружбы нашей уже больше двух лет не существует. Да, собственно, её и не было никогда. И на ТВ Амусин давно уже не работает, так что повредить его карьере этим откровением я не смогу.)

Тем временем вернулся Утц. Деловым тоном он заявил, что поставит в план двенадцать моих передач (по одной в месяц). И чтобы пять-шесть мы уже записали в ближайшее время. Но его смутила моя "говорящая голова." Ему казалось, что рассказывающий что-то в кадре человек – это скучно. "Молодёжь не будет смотреть." И что тут надо что-то такое придумать, чтоб смотрели.

– Но будут же фотографии, иллюстрации, портреты художников, фонограммы стихов. В конце концов, песни.

– Вот песни – это хорошо. Песен надо побольше. А ещё лучше – романсов.

– Может быть, не будем торопиться записывать сразу пять-шесть? – сказала я. – Давайте я сделаю пока одну. Но так, как я считаю нужным. Если вас это устроит, продолжим сотрудничество. А нет – значит нет.

Я решила начать с Лермонтова. (Близился его юбилей.) Лекция, над которой я долго работала, была уже готова. Задача заключалась в том, чтобы переложить её на телевизионный язык, уложив в 30 минут отпущенного мне времени и сделать яркой, зрелищной, запоминающейся, не утратив при этом ни глубины анализа, ни высоты уровня разговора.

Что можно рассказать за 30 минут? (Больше Утц не дал, считая, что для поэзии и это – чересчур много). Если вычесть время на иллюстративный материал, фонограммы и музыкальные заставки, останется где-то минут пятнадцать. Творчество не охватишь, жизнь не расскажешь, даже основные моменты. Я решила остановиться на нескольких наиболее ярких и малоизвестных эпизодах судьбы поэта, написав о них четыре небольшие новеллы. Это: 1) "Лермонтов ли Лермонтов?" (о новых, недавно открытых сенсационных фактах происхождения поэта); 2) "Они любили друг друга..." (о тайной любви Лермонтова к загадочной Н.Ф.И. – Наталье Ивановой, героине его стихов "Я не унижусь пред тобой...", "Они любили друг друга так долго и нежно...", выведенной Лермонтовым под именем Натальи Фёдоровны Загорскиной в драме "Странный человек", где сам он – "странный" Арбенин); 3) "Я к Вам пишу" (о мучительных взаимоотношениях поэта с Варенькой Лопухиной, ставшей праобразом Тамары в "Демоне", Ольги в "Вадиме", княжны Мэри и одновременно Веры в "Герое нашего времени") и 4) "Графиня Эмилия" (о последней роковой влюблённости Лермонтова в Эмилию Верзилину, "розу Кавказа", в доме которой и из-за которой произошла преддвуэльная ссора поэта с Мартыновым; женщину, флиртовавшую с ними обоими, оказавшуюся – по странному стечению обстоятельств, как выяснилось много

позже, – той самой первой любовью поэта, которую он полюбил девятилетней девочкой, увидев у родственников на Кавказе.)

Памятуй о нелюбви начальника ТВ к "говорящим головам", я так обильно уснастила свои новеллы портретами поэта и его любимых, героев и героинь, в которых он воплотил их и себя, что на экране моя голова появлялась бы считанные мгновения. Весь текст был построен на видеоряде, прочитан и проиллюстрирован был каждый абзац, чуть ни каждая строчка. Были ещё и прекрасные пейзажи тех мест, где происходили события, интерьеры комнат и залов, редкие автографы Лермонтова, его рисунки, – так что скучать "молодёжи", глядящей на экран, на которую делал ставку Утц, думаю, не пришлось бы.

Кстати, это беда нашего времени – клиповое сознание. И не только саратовского руководства. Недавно на центральном канале "Культура" появилась новая передача "Антология одного стихотворения". Её автор, он же ведущий передачи "Графоман" А. Шаталов (мой давний "знакомый"; когда-то наши интересы пересеклись на почве издания книг С. Парнок, об этом подробнее – в моей книге "Публичная профессия") в одном из интервью делился своим творческим ноу хау:

– Каждого поэта мы снимаем в особой обстановке. Например, поэта и переводчика Григория Кружкова мы сняли в мрачном ночном кафе, что соответствовало духу его стихов, а поэт и художник Андрей Бартенев читал стихотворение на крыше своей мастерской...

Очень остроумно. Сразу вспомнились строки Елены Тиновской:

А чё у вас скрипач на крыше, не на земле?
Таков обычай иль просто вышел навеселе?

Мне кажутся все эти фокусы совершенно лишними и даже унижительными для участников передачи. Словно заранее предполагается, что всё, что они скажут или прочтут – само по себе настолько неинтересно, что необходимо привлечь внимание зрителя всякими выкрутасами, как бы подсластить горькую, хоть и полезную пилюлю, засунуть в золочёную обёртку. Но зачем в таком случае вообще огород городить, "косить" под культуру? Снимайте ваши крыши, ночные кафе и прочие злачные места, как снимали, причём здесь поэты и поэзия? Она, извините, не для тупых и пресыщенных мозгов. Мне вот, например, безразлично, на каком фоне будет читать стихи мой любимый Кушнер – на фоне белесых обоев, чёрного провала или пыльного мешка – всё равно будет захватывающе интересно. Меня не

раздражает "говорящая голова", ибо мне важно не как она выглядит и что её обрамляет, а что она говорит. И если эта личность или эта тема меня интересует, я буду смотреть и слушать.

Но руководители саратовской культуры думали иначе. У них была стойкая аллергия на эту самую культуру, будь она неладна. Что ж поделать, если канал, который им было доверено возглавить, носит название, при звуке которого хочется схватиться за пистолет? И о зрителях этого канала они судили по себе и себе подобным. В этом я очень скоро убедилась.

Сценарий передачи, который я принесла Утцу, тот передал режиссёру Пряникову. А Пряникову он "не показался", поскольку я, оказываясь, всё просчитав и расписав до мельчайшего кадра, не оставила ему места для "самовыражения". Режиссёру нечего было делать с моим сценарием. Ему было неинтересно. Но, поразмыслив, Пряников нашёл выход. И объявил мне, что мы со съёмочной группой на 2-3 дня поедem в Тарханы и там, на фоне великолепной, вдохновлявшей поэта природы (погода стояла прекрасная, бабье лето) я буду прохаживаться (тут режиссёр польстил мне, сравнив с актрисой, определив этим как бы моё амплуа) и рассказывать о жизни и творчестве Лермонтова. Причём буду это делать под гитарные аккорды знакомого гитариста Пряникова, которого они тоже возьмут с собой. Услышав о таком "художественном решении" передачи, я пришла в ужас. Тарханы, где прошло детство поэта, не имели отношения к моим новеллам, действие в которых протекало в другое время и в других местах. В погоне за режиссёрским "самовыражением" (хотя что может быть банальнее музейных штампов, заученной скороговорки экскурсовода и заорганизованного потока туристов, довольствующихся теми азами, что вкладывают им в мозги) меня пытались вогнать в рамки стереотипа, который был для меня органически неприемлем.

Я пыталась это объяснить Пряникову. Доказывала, что его, так сказать, творческий ход перечёркивает весь мой сценарий. Призывала вспомнить довлатовский "Пушкинский заповедник", где высмеивались формализм и невежество музейных работников. Убеждала, что и в этом сценарии есть возможности для пластического и музыкального (только уж, конечно, ни коим образом не гитарного) обрамления, которое вторит рассказу и приближает передачу к телевизионному фильму. И в этом нет ничего обидного и зазорного, напротив, есть возможность проявить технический уровень и режиссёрскую культуру.

Все доводы разбивались о стену амбициозности

Пряникова и отскакивали от неё как горох. Он заявил мне, что мой сценарий – лишь "бумажка" в руках режиссёра, только повод для его художественного воплощения, что только он определяет линию и стратегию передачи, а я должна выполнять то, что он скажет. Что я "диктатор", так как всё самолично расписала, что со мной никто никогда работать не будет и т.д. и т.п. Поняв, что меня не сломить, в выражениях он уже не церемонился, не скрывая бессильной злости и досады на срывающийся по вине моего ослиного упрямства такой замечательный уик-энд на тархановской природе, командировку куда он уже почти выбил.

С Пряниковым было всё ясно. Я поняла, что мне с ним не сработаться. Но слабая надежда на то, что мне всё же дадут осуществить свой замысел, ещё теплилась. Я позвонила Утцу и попросила дать мне возможность записать передачу – хотя бы только эту одну – без режиссёра, с одним оператором, так как в нём – и Пряников в общем-то это как бы подтвердил – в данном сценарии нет необходимости. Утц не согласился. Он считал, что передача без режиссёра – это нонсенс, прецедент, этого никак невозможно.

– Но почему? Вот у вас Луньков, например, и автор, и режиссёр одновременно.

– Луньков! – Утц был шокирован моим дерзким сопоставлением с собой великого имени. – Луньков! Это же имя! Режиссёр с большой буквы! Луньков – это... (он не находил слов.) – У него опыт, мастерство, талант...

Короче, Утц назначил мне встречу с другим режиссёром – Ю. Нагибиным. Дал, так сказать, последний шанс на исправление. Я пошла на неё, уже мало на что надеясь. Чтобы не отрывать много времени, я дала ему не весь сценарий, а только ту его часть, которая необходима была, по моему мнению, для звукового и технического оснащения текста. Начинался он с музыкальной заставки, после которой на экране появлялся общий заголовок цикла, написанный художником: "Так жили поэты..." ("Так жили поэты. Читатель и друг, ты думаешь, может быть, хуже твоих ежедневных бессильных потуг, твоей обывательской лужи?" – мне казалось, что эти строчки Блока всем хорошо известны и моментально всплывут в голове зрителя; однако в головах моих творческих судей этой ассоциации не возникло, посему заголовок был не понят и не оценен).

Затем – крупным планом шло изображение старинного письменного стола с чернильницей, пером и свечой, вокруг которого под музыку медленно проплывали портреты поэтов, о которых я собиралась в дальнейшем рассказывать: Пушкин, Тютчев, Баратынский, Цветаева, Ахматова, Мандельштам, Есенин... Гусиное перо на экране выводило подзаголовок:

"Этюды о поэзии". А затем – заголовок первого этюда: "Михаил Лермонтов." И на фоне знаменитого вальса Хачатуряна к драме Лермонтова "Маскарад" за кадром звучали стихи поэта:

Безумец я! Вы правы, правы!
Смешно бессмертье на земли.
Как смел желать я громкой славы,
Когда вы счастливы в пыли?
Нет, не похож я на поэта!
Я обманулся, вижу сам.
Пуškai, как он, я чужд для света,
Но чужд зато и небесам!
Как демон мой, я зла избранник,
Как демон, с гордою душой.
Я меж людьми беспечный странник,
Для мира и небес чужой.

Потом на экране должна была появиться я за своим рабочим столом в окружении книг Лермонтова, монографий о нём и красочных иллюстраций, которые показывались бы крупно камерой в нужную минуту. Дальше – несколько моих вступительных слов о том, что когда-то поэт казался себе и многим чужим этому миру, но чем больше проходит времени, тем ближе он к нам, независимо от того, какое нынче тысячелетие на дворе. "Он ворвался в пушкинскую эпоху как варвар и как наследник, как разрушитель и как продолжатель – ему было в ней тесно, и не только в ней, но и в том ясном и гармоничном мире, который был очерчен Пушкиным. Лермонтов сумел найти свой, особый путь в русской литературе. На смерть Пушкина ответил только он, притом так, что голос его прозвучал на всю страну, и никому не ведомый молодой гусарский офицер был чуть ли не всеми признан пушкинским преемником. Лермонтов как бы сменил Пушкина на посту, занял опустевший трон, и никто не посмел оспаривать его право на это. И с тех пор у нас два основных поэта, два полюса, два поэтических идеала."

Дальше следовало краткое сравнение Лермонтова с Пушкиным, – то, что их сближало и отличало. Отличала в том числе и неизученность, скудность биографического материала о Лермонтове. Он во многом ещё не открыт. Он до сих пор – тайна... Затем звучал романс "Выхожу один я на дорогу" в хрустальном исполнении Анны Герман (музыкальные фонограммы были мной тоже подобраны и записаны на плёнку, так что и звукорежиссёру в моём сценарии особо разгуляться было негде).

Но даже этот краткий конспект сценария Нагибин смотреть при мне, как я хотела, не стал. Попросил оставить. А последовавший на следующий день разговор по телефону

почти полностью повторил диалог с Пряниковым. То есть я должна была отдать свой сценарий на растерзание режиссёру – тому или другому, над которым он мог бы упражняться в своём самовыражении. "Если режиссёр скажет Вам читать верхом на лошади – значит, Вы должны это делать," – заявил Нагибин. Творцами были только они, за мной права на творчество не признавалось. Когда я пыталась в разговоре отстоять это право, Нагибин был искренне удивлён: а что, собственно, я могу рассказать нового? Вот если бы экскурсовод в Тарханах – тогда другое дело. Они – профессионалы, у них – опыт, знания, мастерство...

В заключение Нагибин сказал, что отдаст мой сценарий на худсовет в художественную редакцию (так сказать, отфутболил). Круг замкнулся. Он пообещал позвонить в понедельник (была пятница), но я уже приняла решение, что работать там в качестве "актрисы", то бишь режиссёрской марионетки не буду. Мне это неинтересно. Но чтобы мой поступок не был расценен как некий вздорный каприз, амбициозное "фи", я написала Утцу письмо, в котором постаралась внятно объяснить мотивы своего поведения, высказав заодно всё, что думаю по поводу их телевизионной "режиссуры". Не знаю, дошло ли это письмо до адресата (я посылала его по месту работы) или затерялось в "коридорах власти". На всякий случай – если он его так и не прочёл – привожу здесь полностью:

"Уважаемый Сергей Рудольфович!

Я пишу Вам не для того, чтобы о чём-то просить или на кого-то жаловаться, я уже приняла решение, что никакие передачи о поэзии у вас вести не буду, чему Вы, вероятно, не очень огорчитесь. Но я хочу попытаться объяснить Вам какие-то вещи, которые необходимо понимать, если Вы хотите делать новое телевидение, отличное от ныне существующего.

Речь не о личной обиде, хотя я, поверив Вашим словам, убила десять дней на подготовку сценария, продумав до мелочей и зрелищную, и музыкальную сторону. Я думала о том, как ярче и интереснее подать материал, но не учла, оказывается, интересы режиссёра, которому нужен простор для самовыражения, а его в моём сценарии не оказалось, всё уже прописано и просчитано. Но ведь задача режиссёра – помочь воплотить замысел автора доступными ему техническими средствами, а не "самовыражаться" в ущерб общему смыслу и содержанию. Меня пригласили вести авторскую программу о поэзии, а вместо этого предлагают позировать как "актрисе" на фоне Тархан под гитару знакомого гитариста Пряникова. Во-первых, Тарханы связаны с периодом детства Лермонтова, а у меня идёт речь

о взаимоотношениях поэта с женщинами, с которыми он познакомился и встречался в Москве и Петербурге, и о дуэли, которая была на Кавказе. И логичнее тогда уж было бы выписать командировку туда. В Тарханах можно записать экскурсовода, причём здесь мои рассказы. Я уж не говорю о том, что писать передачу о Лермонтове под гитару – это значит не чувствовать духа и ауры поэта, перепутав его то ли с Аполлоном Григорьевым, то ли с Денисом Давыдовым, и если бы я согласилась на такое "режиссёрское решение", то мне пришлось бы переключать весь сценарий под Пряникова. Нагибин тоже считает, что ведущее слово должно быть за режиссёром, и если он скажет мне читать, как он выразился, "верхом на коне", то я должна это делать. В погоне за "зрелищностью" Вы и Ваши коллеги не понимаете главного: может быть, с помощью всевозможных ухищрений Вы и привлечёте внимание "молодёжи" (кстати, почему зрители канала "Культура" – это только молодёжь?), но вот стоит ли будет тогда слушать всё это? Об этом никто не думает.

Главное в таких передачах – это магия рассказа, личность поэта и умение заинтересовать слушателя, может быть, даже заинтриговать какими-то моментами – всё это я хорошо чувствую и умею, во всяком случае, если в течение пятнадцати лет собираю огромные аудитории на свои вечера и могу в течение двух часов держать зал – это о чём-то говорит. Пряников считает, что авторский сценарий – это "бумажка", из которой режиссёр сделает нечто. Я не знаю, с какими авторами он прежде работал, но у меня это не бумажка, а выношенный, можно сказать, выстраданный плод работы нескольких месяцев, а то и лет. Я не думаю, что ваши режиссёры или редакторы читали хоть десятую долю того, что я читала и знаю о поэтах, о которых рассказываю. И я не могу допустить, чтобы в этот текст вмешивались чьи-то некомпетентные и равнодушные руки. Беда вашей художественной редакции в том, что там работают люди, которые поэзии не знают, не понимают и не любят. Я не представляю, как их передачи могут смотреть те, у кого есть хоть капля интеллекта. Мешанина из обрывков спектаклей, невразумительных, нудных и затянутых интервью, приправленных "умными" цитатами "элитарных" писателей, не имеющими никакого отношения к теме, – всё это было бы смешно, когда бы не было так бездарно и претенциозно.

Что же касается "зрелищности", как Вы её понимаете, то это "клиповое сознание", выдаваемое сейчас за новое слово в телевидении, напоминает мне мировосприятие тех земноводных, которые реагируют

только на то, что движется. Всё остальное, дескать, "статика", это "смотреть не будут." Но откуда же вы знаете, что будут, а что не будут? Рейтингов ведь у вас не проводится, а ваше окружение резко отличается, например, от моего и моих знакомых. Но Вы, естественно, будете учитывать мнение только вашего. Если же вам нужна только "зрелищность" – то снимайте "хрустальную корону", дискотеки, стриптиз-шоу, – зачем вам культура, поэзия?

Когда прошла по ТВ моя передача о Борисе Поплавском, ко мне подходили люди и говорили: "Ну, наконец-то наше ТВ стало делать такие передачи, наконец-то мы дождались." Это был 1996 год. Но как тогда, так и теперь саратовское ТВ не может дозреть до понимания, что такие программы многим, прежде всего интеллигенции, необходимы. Канал "Культура" – это не развлекательный канал для молодёжи, и моя задача, как я её понимала – не в эффектных позах, не в каких-то выкрутасах: "на коне" или на крыше, или на чём – не знаю, куда ещё простирается творческая фантазия вашей режиссуры, а в том, чтобы поднять уровень сознания людей над обыденностью, заразить, увлечь эмоциональным рассказом, заставить сопереживать, задуматься, приобщить к чему-то такому, чего, возможно, в их жизни нет, но где-то глубоко в них дремлет, разбудить это шестое чувство, а любителям поэзии – их, поверьте, немало – подарить праздник встречи со Словом. Вы не меня лишили – у меня есть и своя аудитория, и свой круг читателей, я спокойно обойдусь без вашего ТВ – Вы их лишили этой возможности: стать чуточку выше, чище, свободнее и, возможно, счастливее.

Не знаю, может, зря пишу Вам всё это, у меня такое ощущение, что мы говорим на разных языках и вообще живём в разных измерениях. Наверное, для Вас, как и для вашего прагматичного поколения, всё это – химеры, иллюзии, анахронизм, и это послание – очередное "письмо в пустоту" (так называется одна из моих книг). И тем не менее. Ещё несколько слов.

Нагибин и Пряников с пренебрежением говорили о моих передачах (которых не читали и не видели), что это "просто лекция", которая может заключать в себе лишь "общеизвестное". Но да будет Вам известно, я никогда не рассказываю общеизвестного, а отбираю из всего прочитанного самое малоизвестное и даже вовсе неизвестное. Цикл "Забывшие имена", например, готовился по материалам очень малотиражных изданий, которых нет в саратовских книжных магазинах и библиотеках, которые я выписываю по адресам иногородних издательств. А передача о Софии Парнок (в 95 году) была подготовлена по книгам С.

Поляковой (единственного литературоведа в России, занимавшегося творчеством Парнок, запрещённом тогда у нас), присланным мне её родственниками из США. И Ёлишина тогда со своим художеством хотела её зарубить по причине того, что "наш народ ещё до этого не дозрел" (имея ввиду близкую дружбу Парнок с Цветаевой). Но это не народ "не дозрел" – не нужно распространять собственное невежество на всё человечество – а телевидение ваше не дозрело до понимания того, что такие серьёзные, исследовательские передачи необходимы многим и многим.

(Передачу мне тогда удалось отстоять, но её поставили в программе на 0.40, чтобы никто не увидел, и на другой день плёнку стёрли, хотя многие, как мне рассказывали, звонили и просили её повторить в более удобное время.) И вот этим же людям Нагибин отдал на суд мой сценарий о Лермонтове (хотя это даже не сценарий, а лишь та его часть, которая была предназначена для звукорежиссёра и оператора). Разумеется, исход этого "судилища" был предreshён заранее.

Я ещё в пятницу приняла для себя решение, что работать у вас не буду, и поэтому когда в понедельник в конце дня позвонил Нагибин и сказал, что "мой проект осуществить не представляется возможным", стала довольный придуманной формулировкой, я даже не стала спрашивать, почему. Хотя это просто смешно – что там "осуществлять". Все 78 цветных кадров (иллюстраций к произведениям, портретов Лермонтова, его женщин и героинь, в которых он их воплотил, картины и рисунки поэта, пейзажи и снимки мест, где всё это происходило) – всё это было мной уже подобрано в библиотеках и отделах искусств, пронумеровано, перезаложено закладками и лежало в нужной очередности, готовое для съёмок. Так что снимать это нужно было не "полторы недели", как заявил Пряников, а десять минут. Я всё это им говорила, но они или не поняли, или не хотели слушать. И эти "картинки", как они их называют, смотрелись бы с большим интересом, во всяком случае, больше оживляли и конкретизировали бы рассказ, чем съёмки пейзажей Тархан, где не бывал, наверное, только ленивый. А мастерство режиссёра могло бы проявиться в способе подачи этих иллюстраций, здесь существует масса спецэффектов и технических возможностей. Недавно была передача Глеба Скороходова, оформленная точно так же, и "картинки" эти появлялись то в углу экрана, то наплывали на видеоряд, то переходили в живую съёмку. И режиссёр, между прочим, был Евгений Гинзбург (не чета Пряникову), который не "гнушался" этой работой.

Повторяю, я пишу это вовсе не для того, чтобы чего-то у Вас добиться или попытаться переиграть ситуацию. Работать я у вас все равно не буду, даже если бы Вы меня об этом очень просили. Как говорят в рекламе, "пропало желание". "На ваш безумный мир ответ один – отказ" (Цветаева).

Но хотелось бы, чтобы Вы сделали какие-то выводы на будущее, ибо судьба нашего канала "Культура" мне не безразлична. Хочется надеяться, несмотря ни на что, что Вам удастся создать что-то принципиально новое.

Ответа мне не нужно, не утруждайте себя и своих подчинённых отписками. Желаю успеха.

Наталья Кравченко."

Несколько месяцев спустя местный канал "Культура" родил, наконец, новый "проект" (меня смешит, что сейчас буквально каждый свой чих важно называют проектами) под названием "Минуты поэзии". Это были действительно считанные минуты – где-то минут десять, в течение которых на фоне лирической музыки и картин природы актриса за кадром читала стихи. В первой передаче это были стихи моей обожаемой Ларисы Миллер, о которой я читала в библиотеке лекцию. Большинство саратовцев ее творчество наверняка было неизвестно, и стихи эти, не удостоенные ни слова комментария или профессиональной оценки, проскользнули незамеченными.

Следующие передачи, посвященные Фету и Баратынскому, вел Д. Луньков. Что это было за убогое зрелище, что за пародия на чтение! Он не отнимал носа от книги. Комментарии были типа: "А вот ещё один шедевр..." "А вот ещё..." "Позволял себе прерывать строчки стихов пояснениями: "Очес" – очей то есть", поднимая при этом указующий палец вверх. Это же недопустимо – разрушать стихотворную ткань комментариями, их нужно делать либо перед началом стиха, либо в конце. Никакого иллюстративного материала в этих передачах не было, одна "говорящая голова", как перст, на экране. Не понимаю, чем же его голова в данном случае была предпочтительней моей? И по какому праву он вообще ведет подобные передачи, не будучи ни поэтом, ни критиком, ни литературоведом, ни чтецом, ни артистом? "Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник..." Бедные зрители.

Заметки

*Мандельштам говорил:
"Зачем сочинять комиксы?
Ведь и так всё смешно." И
часто смеялся "от иррацио-
нального комизма, перепол-
няющего мир." Эти заметки –
из той же области.*

*Они порождены иррацио-
нальным комизмом нашей
жизни.*

Смехотворинки

Тяжёлый вес

В одном моём стихотворении есть такие строчки: "Я – поэт нетяжёлого веса, но мне так тяжело". В конце творческого вечера одна слушательница попросила слова, желая высказать мнение о моих стихах. Она начала так: "Наталия Максимовна пишет, что она поэт нетяжёлого веса, но это неправда. У неё тяжёлый вес!" С самыми добрыми побуждениями женщина наступила мне на большую мозоль. Многие при этих словах невольно перевели взгляд на мою фигуру, которую я вот уже несколько лет безуспешно пыталась уменьшить. Давид хмыкнул. Вечером, обнимая меня, не преминул подпустить шпильку: "А поэт ты действительно весомый, это точно!"

Хоть бы раз заштопать...

В семнадцать лет, мечтая стать верной и преданной женой, я писала:

Милый, как ты? Что ты?
Кровь стучит в виски.
Хоть бы раз заштопать
Мне твои носки!

Многих читателей, преимущественно мужчин, (включая обозревателя "Книжного обозрения" А. Щуплова) умиляли и восхищали эти строки. Носки в данном случае выступали как символ наивысшей жертвенности в семейной жизни, как максимум того, что может сделать влюблённая женщина для любимого мужчины. Во всяком случае так мне тогда это представлялось. В действительности дело обстояло иначе.

Однажды, помню, провожал меня в студенческой юности один мальчик, потенциальный жених. Он, видимо, решил устроить мне в тот день экзамен на звание будущей жены, проверить на предмет домовитости и хозяйственности. Оторвав у себя от пальто пуговицу, якобы случайно, он попросил меня пришить. Но не на ту напал. Зайдя в квартиру, я с порога крикнула бабушке, кинув ей на руки это пальто: "Ба! Пришей!" Больше я этого жениха не видела. Что называется "отшила."

В семейной жизни Давид давно уже примирился с моей абсолютной, я бы даже сказала, уникальной бездарностью в этом деле. Если я что-нибудь всё же пыталась зашить или пришить, то это оказывалось пришитым хоть и насмерть, но не туда, не тем концом, к подкладке или к нижнему белью, а

всё мной зашитое укорачивалось наполовину, так что влезть в это зачиненное уже было невозможно, оставалось лишь выбросить. (О том, чтобы "сшить", речь даже не шла, страшно подумать, каких монстров бы я породила.)

С носками же дело обстояло ещё хуже. Когда у Давида в каком-нибудь появлялась дырка, на что я ему незамедлительно бестактно указывала, и, стыдя – "что ж ты меня позоришь!", – требовала снять для штопки, он покорно и обреченно подчинялся, мысленно с этим носком распрощавшись навсегда. Надо сказать, Давид был в этом вопросе очень деликатен: положив носок на спинку стула, он мне никогда о нём больше не напоминал. Носок висел день, другой, неделю, месяц. Через некоторое время к нему присоединялся второй, третий. Я о них всё время помнила. Составляя план на день, первым пунктом крупно писала: "Заштопать носок." План менялся, пункты необходимых дел сменяли друг друга, но этот пункт оставался неизменным, как в юмореске Хазанова: "в деревне Гадюкино дожди". Эти гадюкины носки терпеливо ждали своего часа, когда же у меня наконец достанет душевных сил и совести ими заняться. И однажды этот чёрный час моей жизни наставал. В какой-нибудь серый, мутный, дождливый день, когда никуда не хотелось идти, никого не хотелось видеть, всё валилось из рук, и тогда – а, всё равно уж, жизни нет, пропадай всё пропадом! – извлекались на свет божий эти злосчастные носки, эта "прореха на человечестве", которые я начинала остервенело и нещадно штопать. Это было похоже на казнь носков. После чего они большей частью отправлялись в ведро для тряпок. Зато с тряпками у нас никогда не было проблем: носок для вытирания пыли, носок для мытья посуды, носок для мытья окон, раковин, ванны и т.д. и т.п. Вот так. Стихи стихами, а жизнь жизнью.

Трагический возраст

Приходит письмо от Н.С. Могуевой, моей давней приятельницы и корреспондентки. Она пишет о четырнадцатилетней внучке, которая зачитывается моими стихами и весь сборник переложила закладками. Одна из них была заложена на четверостишии:

Почему не спускается занавес?
Пьеса жизни проиграна в прах.
И на бис не сыграть её заново,
Разве только в грядущих мирах.

"Ну, конечно, – пишет бабушка, – мальчик какой-нибудь не так посмотрел на неё, и вот уже "пьеса жизни проиграна в прах."

Нам смешно. А ведь 14 лет – это, может быть, в самом деле самый трагический возраст. По себе помню. Когда мне было тринадцать, я надумала покончить с собой от несчастной любви и написала такое предсмертное стихотворение:

Всего, что так сердцу мило,
Я в жизни узнала мало.
О сердце, как ты любило!
О сердце, как ты страдало!

Стихотворение это мне самой так понравилось, что кончать с собой я передумала. Решила прежде стать поэтом.

Любовь слепа

Приятельница привела на мой вечер своего знакомого. Лекция ему понравилась. И не только лекция.

– Ты знаешь, – доверительно шепнула она мне, – ты ему как женщина понравилась.

Я заинтересовалась:

– А кто он такой, откуда?

Оказалось – из общества слепых.

Она любила свободу

Соседская девочка Олеся сочиняет рассказ о моей собаке Линде. Это сейчас она моя, а до меня полгода жила на улице, в нашем дворе. И нашла её именно Олеся. Повествуя о злоключениях псыны, завершившихся счастливым концом, школьница пишет: "...и Линду взяла на поводок. Мы все плакали. Ведь она любила свободу!" Заканчивался рассказ так: "А теперь она живёт у доброй женщины, знаменитой писательницы тёти Наташи."

Лай по существу

Линда ни с того ни с сего начинает лаять противным визгливым голосом. Несколько раз подхожу к дверному глазку: никого. Ложная тревога. И так весь вечер. Пытаюсь внушить ей: "Линда, не будь брехливой собакой. Лай по существу!"

Достоинство

Вижу: по двору идёт пьяный. Вид у него такой, будто его несколько дней валяли по помойке: грязный, мокрый, обтрёпанный, дурно пахнущий. Глаза мутные, ноги выдeldывают восьмёрки. Все обходят его за версту. Парень, сидевший на лавочке, не побрезговал, подошёл: "У тебя закутить есть?" Тот, одной рукой роясь в кармане, другой –

тщетно пытаюсь сохранить равновесие, вдруг с неожиданным для его облика достоинством изрекает: "Не "у тебя", а "у Вас!"

Парень, слегка опешив, смерив его удивлённым взглядом, поправляется: "Ну, у Вас..."

Не смог любить

Композитор В. Мишле, написавший цикл песен на мои стихи, пригласил на мой творческий вечер министра культуры (теперь уже зека) Ю. Грищенко. Тот важно заявил, что сможет на нём пробыть лишь полчаса, не больше – у него срочное совещание. Однако, услышав мои критические эскапады в адрес местной власти, отменил по мобильнику свою неотложную встречу и остался до конца.

В конце вечера вышел к микрофону и прочёл стих-экспромт собственного сочинения (как бы в ответ на мои строчки

"прими, читатель, этих строчек ересь.
Не отшатнись, всецело мне доверься,
И полюби и за, и вопреки"):

Я принял Ваших строчек ересь.
Не отшатнулся, им доверься.
Не смог любить ни за, ни вопреки,
Но не уйду, Вам не подав руки.

Пожал мне руку и убежал.

Разговорчики

Готова более чем

Зову Давида ужинать. Он:

– Картошка готова?

Я, открыв крышку, после паузы:

– Более чем. Сгорела.

Моя недвижимость

Утром по радио:

– Астрологи утверждают: сегодняшний день благоприятен для покупки недвижимости.

Я, смеясь, лежащему Давиду:

– Ты – моя недвижимость.

Давид, делая страшное лицо, порываясь встать:

– Щас как двину!

Как это у Бродского? –

Одушевленный мир не мой кумир.
Недвижимость – она ничуть не хуже.

Спасибо, не надо

Давид заходит в книжный магазин проведать, как продаются мои книги. Увидев, что он задержался у стенда саратовской поэзии, куда обычно никто не подходит, к нему обрадованно подлетает молоденькая продавщица.

– Купите! – суёт она ему мою последнюю книжку. – Это лучшая поэтесса Саратова! Отличные стихи, не пожалееете!

– Спасибо, у меня уже есть, – сдержанно ответил Давид, мысленно представив штабеля только что полученного из типографии тиража, заполонившего всю лоджию. И тяжело вздохнул.

Аборт книги

Я объявляю Давиду о том, что готовлю следующую книгу. Для него это прозвучало, наверное, как в своё время – объявление Левитана о начале войны (он его ещё застал).

– Да ты что! – возмущается он. – Куда тебе ещё одну книгу! Мы же ещё ту не продали.

– Но пойми, – кричу я в ответ, – она же уже во мне, я не могу её не написать. Я беременна этой книгой!

– Сделаем аборт! – отрезал муж.

Несравнимый поэт

По телефону звонит читательница, восхищается стихами.

– Вы хоть сами понимаете, какой Вы поэт? Вы хоть сами это понимаете?! – спрашивает она меня.

– Н-ну... (я в затруднении). Смотри с кем сравнивать...

– Да хоть с кем! Да с кем ни сравни! Ну назовите хоть кого! – горячится женщина. "Кого бы назвать?" – плотоядно соображаю я. Глаза мысленно разбегаются.

– Назови Пастернака, – подсказывает Давид.

Не назвала. Совесть не позволила.

Портрет с мужем

Саратовский художник, ещё лет семь назад изъявивший желание написать мой портрет, после долгого отсутствия объявился на одной из лекций. Оказалось, что это желание в нём ещё не остыло. Я сказала об этом маме. Она всполошилась:

– Ни в коем случае! Скажи ему: "я замужем"! Скажи: "меня можно рисовать только с мужем!"

Непредупредительная острота

Хмурое утро. Никак не можем с Давидом заставить себя встать. Я, по аналогии с "Покровскими воротами" ("на улице идет дождь, а у нас идет концерт"), говорю:

– На улице идет дождь, а у нас идет подъем.

Давид, всполошившись:

– Как дождь?! – бежит к балкону. Я:

– Да нет, это я острою.

Давид, с досадой:

– Предупреждай, что остришь!

Приятный собеседник

По саратовскому радио передают традиционное интервью Липатовой с Аяцковым. Та подобострастно спрашивает, придет ли к нам Путин. Разговор переходит на Ельцина, на других политических деятелей, которые у нас побывали. Аяцков вспоминает:

– Вот недавно я встречался с Горбачёвым... – Помолчав, одобрительно:

– Приятный собеседник.

Любимый афоризм

По саратовскому ТВ – интервью с депутатом Думчевым. Корреспондент спрашивает:

– Ваш любимый афоризм?

По глазам депутата он видит, что тот в затруднении, не понимает вопроса. Мягко поясняет:

– Ну, любимая пословица, поговорка, афоризм.

Думчев, воспрянув:

– Мой любимый афоризм – это быть честным, трудиться, любить свою Родину... (Видимо, спутал со словом "девиз"). Я, отхохотав, Давиду:

– Вот смеху будет, если его назначат министром культуры. (Была как раз вакансия). Давид:

– А ты думаешь, не такого, что ли, назначат?

Зачем Вам маца?

У Высоцкого есть песня о Мишке Шифмане, надумавшем под влиянием "голосов" уехать в Израиль и позвавшем с собой за компанию друга. А тот ему – я бы всей душой, мол, да "вот загвоздка тут – русский я по

паспорту". Чем кончилась эта история, всем известно:

Мишке там сказали "нет",
Ну а мне – "пожалуйста".
Он кричит: "Ошибка тут,
Это я еврей!"
А ему – "не шибко тут,
Выйди из дверей!"

В нашем саратовском еврейском сообществе, думаю, такой ошибки бы не произошло. Чистоту расы – как, впрочем, и в местных "русских" идеологических учреждениях, тут блюдут строго. Недавно родственник Давида Мишка Коновалов, "русский по паспорту", пошёл за мацей в резиденцию главного раввина Саратова. Ответственный за это дело спрашивает:

– Ваша фамилия?

– Коновалов.

Пауза. Саркастический вопрос:

– А зачем Вам маца?

Немая сцена. Мацу, после некоторых колебаний, ему всё же решают выдать.

– Сколько стоит?

– Вам (подчёркнуто) – 60.

Следует добавить, что для евреев "в законе" цена – 35. Вот такой вот "сионизм". Так что кого ни попадя в Израиль, как поёт Высоцкий, у нас не пустят.

Удивительное рядом

Разговор по телефону с редактором "Земского обозрения". Я пытаюсь убедить его дать в газету объявление о предстоящем вечере Игоря Северянина в нашей библиотеке. Редактор, услышав имя поэта, удивляется:

– Надо же! И я Игорь. Тёзка.

Я, мягко говоря, удивляюсь этому удивлению.

Однако объявления на "тёзку" не появилось. В следующей раз пытаюсь дать на Николая Заболоцкого. Услышав название вечера "Огонь, мерцающий в сосуде", редактор опять удивляется: "Надо же!" Но объявления снова не даёт. Звоню, осведомляюсь о причине такой немилости к поэтам, вечера которых были приурочены к юбилейным датам (у Северянина – 115 лет со дня рождения, у Заболоцкого – столетний юбилей).

– Мы даём то, что считаем нужным, – отчеканивает тёзка Северянина.

Удивительные редактора работают в наших газетах.

Парфюмеры

Лаконичный диалог, который случайно подслушал Давид в книжном магазине. Покупатель, озабоченно:

– У вас "Парфюмер" есть?" – имея в виду роман Зюскинда.

Продавец-консультант, высокомерно:

– У нас не парфюмерия.

Смертельный диагноз

Поэты и – что чаще – полупоэты (то есть те, кто пишет без достаточных на то оснований) дарят мне свои сборники, ожидая в ответ обнадеживающих слов. К сожалению, хорошие стихи попадаются очень редко, и я бываю поставлена перед необходимостью говорить людям суровую правду, что всегда обидно и неприятно. Ахматова в таких случаях сравнивала себя с врачом, который вынужден ставить один и тот же диагноз: "Рак, рак, рак." Но она, не желая обижать людей дурным отзывом, говорила: "Если мне не нравится, я молчу или говорю что-нибудь вялое, человеческое. Ну, например: "У Вас есть чувство природы". "Слова стоят на своих местах." Мария Петровых в таких случаях говорила: "Ну что ж, в этом нет ничего плохого." Мандельштам был ещё уклончивее: "Это для Вас характерно." Для меня объявление такого диагноза всегда было тягостной и мучительной процедурой.

Как-то совершенно безнадежные стихи принес один мальчик, который ходил на все мои лекции, и мне было особенно жаль его обижать. Давид решил принять огонь на себя:

– Давай я ему скажу.

– Только ты поделикатней.

– Ну разумеется.

"Деликатность" Давида оставила желать лучшего. "Знаете... Вам не надо писать стихи", – максимально мягким голосом объявил он юному поэту. Мальчик вспыхнул, круто развернулся и вышел. "Ну вот, теперь он больше не придёт", – огорчилась я.

Он действительно не появлялся на лекциях где-то с полгода. Потом пришёл – возмужавший, посерьёзневший, как бы многое понявший. Он подошёл к Давиду и прямодушно, от чистого сердца сказал:

– Знаете, я много думал...Вы во многом, вероятно, правы...– И протянул ему новые стихи. Давид просмотрел их и так же прямо и чистосердечно ему ответил:

– И всё-таки... Вам не надо писать стихи.

Поэт круто развернулся и вышел. На этот раз навсегда.

Приятная поэзия

По ТВ (утром) актёр читает замогильным голосом: "Ночь, улица, фонарь, аптека..." Потом на экране появляется ведущая, видимо, не вникавшая в смысл прозвучавших стихов. Весёлым, оживлённым, жизнерадостным голосом Пятачка из мультфильма:

– Как приятно начинать утро с поэзии!

Святые слезы

Женщина плачет после моей лекции о Лермонтове.

– Бедный мальчик! Сколько он пережил! – всхлипывает она.

Как я люблю доводить людей до таких слез.

На любителя или ценителя?

Я – самокритично – о своей ранней книге:

– Это книга на любителя. На большого любителя. На любителя меня.

Давид:

– Не говори так! Говори: "На тонкого ценителя."

Домашние экспромты

Я – Давиду (утром из ванны):

– Поскольку я в неглиже, ты на меня не гляже.

А это Давид – мне, тоже, выйдя из ванны:

Тёр мочалкою ретиво,
Кипяток лил докрасна.
Я-то думал, это мыло.
Оказалось – седина!

А это снова я, после завтрака, над разбитой вдребезги тарелкой:

Одной тарелкой меньше стало –
Одною песней больше будет.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТИХИ	5
"Из пекла да в польмя сердце просится..."	6
"Я схороню себя в своих стихах..."	6
Имя	6
"Я не примеряю масок..."	7
"Жизнь оказалась мне не по росту..."	7
"То, что добро потоплено во зле..."	7
"Пройти по жизни невидимкой..."	8
Окно	8
"Лес тонул в жужжании и гуле..."	9
"Земля страданиями полна..."	9
"В окне квадрат Малевича..."	9
"Когда не взвидишь света до зари..."	10
"Меж светом и теменью – драка..."	10
Деревья	10
"За углом берёза закадычная..."	11
"Кончался дождик. Шёл на убыль..."	11
"А на пороге осень..."	11
"Мир – кропотливый ювелир..."	12
Утро	12
"Сонно нащупаю тапок..."	13
"В окне черно. Луна исходит жёлчью..."	14
"Вновь сижу – рука в руке – с тоскою..."	14
"На краешке любви, как на морской мели..."	14
"Помоги мне", "пошли мне денег"..."	14
"Я стучу в себя, как в стену..."	15
"Моя родная конура..."	15
Теорема	15
"Я жизни паршивой парашу..."	16
"Был художник прост. Миллион ей роз..."	16
"Выключаю телевизор..."	16
"Как только снова небо вызвездит..."	17
"Комната о четырёх углах..."	17
"Музы худосочные заморыши..."	17
"Писать уж больше не могу..."	18
"Лелею искомые строчки..."	18
"Поэзия должна быть делом личным..."	18
"Поэзия границ не знает..."	19
"Раньше знали их и птицы, и листва..."	19
"Откуда рассвет приходит?..."	19
"Как дела? Какие планы?"...	19
"Смотрела вечер Евтушенко..."	20
Ответ критикам	20
"Всем посторонняя, всем неугодная..."	21
"Поэзия... Болезнь или везенье?..."	21
"Когда цветов лежит копна..."	21

Фёдор Сологуб	22
Борис Поплавский	23
Леонид Губанов	24
"Поэзия не знает дня рожденья..."	25
"Пока ещё не проклята..."	26
"Жизни нет от полноты..."	26
"Варенье – ягоды подобие..."	27
"Под аркой радуги, в кольце обнявших рук..."	27
"О где тот младенческий пир..."	27
"Ну можно ль по душе – пешком..."	28
"Писем перечитыванье милых..."	28
"Давно я уже не летаю..."	28
"Не умею и не буду..."	28
"Как жизнь однообразна..."	29
"И вновь, как в юности, почувдится..."	29
"О сирень четырёхстопная!..."	29
"Не жалко мне, чего не испытала..."	29
Послание	30
"Поздравительные открытки..."	30
"Без сучка и задоринки гладкая ложь..."	31
"Я знаю, в жизни надо лгать..."	31
"Ложь наострила лыжи..."	31
"А если чуточку совру..."	32
"Не прожить мне, как хотела..."	32
"Только правды хочу, только вещи, какой она есть..."	32
Национал-патриотам	32
"Страна больна смертельно. И преступно..."	33
"Нет, не былью, а антиутопией..."	34
"Век бесчинств и нечистот..."	34
"Не для меня газетного вранья..."	34
"Мне дождик грошовый в безлюдную рань..."	35
"Трёхкомнатное логово души..."	35
"И вгрызается в горло нам век-бультерьер..."	35
"Стоит он, молящий о чуде..."	35
"Не от мира сего, а от мира всего..."	36
"Нет хлеба. Что ж, не страшно..."	36
"Русь – огромная деревня..."	37
"На верёвке сохнут вещи..."	37
"Ты склонись надо мною в молитве..."	37
"А в воздухе веет прохладой..."	37
"Телефон звонит в передней..."	38
"Диск телефонный. Терпенья зенит..."	38
"Телефоны, телефоны..."	39
"Скажи мне, кто не одинок?..."	39
"Дверь покосилась. Змеиные трещины..."	39
"Пророки вечно в дураках..."	40
"Пусть кто-то будет резок крайне..."	40

"Союз графоманов чеговамугодных..."	40
"Вот поэт, зовётся Цветик..."	40
"Меня от Достоевского знобит..."	42
"Душа глухонемая, безъязыкая..."	42
"В мире зла и бизнеса, что низмен..."	43
Лунная соната	43
"Луне, как и мне, не спится..."	43
Зелье	44
"Надену старый свитер чёрный..."	44
"Расплакался дождь. Не от боли..."	44
"Я столкнулась с дождей беспределом..."	44
"Когда-нибудь накроет прессом..."	45
"Меня никто не любит, только Бог..."	45
"На небе сейчас ни облачка..."	45
"Вчера на Шилова ходили мы..."	46
"Ну сколько можно о Марине!..."	47
"Женщина, влюблённая в природу..."	48
"О женщина! Не различить лица..."	48
Бабье лето	48
Анкета	49
Сосед	49
"Что значит – на картошку посылать..."	49
"Меня не обманывали деревья..."	50
"Шарманчики, акыны, трубадуры..."	50
Поэт	50
"Ты – на целую тоску..."	51
"Ты пишешь наотмашь, под дых, наповал..."	51
"Под этим небом, выпитым до дна..."	52
"Ты весь – как заросший, запущенный сад..."	53
"Звёзд горящий уголёк..."	53
"Не обида больно ранится..."	53
"Детской слабостью твоей обезоружена..."	54
"Ты ищешь работу охранника..."	54
"Меж наших душ, их полярным сиянием..."	55
"Я опять пишу тебе в блокноте..."	55
"Пишу неизвестно зачем и кому..."	55
"Гроздьё грёз, словно майских гроз..."	56
"Уравнения строк не сходились с небесным ответом..."	56
"Новое русло моей души..."	56
"Не судите то, что вам неведомо..."	56
"Случайно подслушанный шёпот на плёнке..."	57
"Поменяла душевный покой..."	58
"Ещё твои молитву шепчут губы..."	58
"Так беспоследственно и бесполезно..."	59
"Не малодушие-великодушие..."	59
"И некому послушать..."	60
"Душа нежна, словно душка..."	60

"Наверно, ослепил неон..."	60
"Ты – то, с чем я справилась. Сердца бойня..."	60
"Когда ты, яростно грассируя..."	61
"Прощусь, как с душою тело..."	61
Линда	62
"Ваше востромордие..."	62
"Чудный пёс, собака, псище..."	63
Две собаки	63
"У нас собака – больше, чем собака..."	63
"Иду, со сна полуслепа..."	64
В кафе "Манеж"	64
"Век не знать мне добра и удачи..."	65
"О Волга, ты – лекарство от истерик..."	65
"Лишь вбежала в комнату – звонок..."	65
"Я мечтала о свадьбе, о снежной фате..."	66
"Лица улиц, троллейбусов морды..."	66
"Схожу с ума, как снег в апреле..."	66
"Я целую твою голову..."	67
"Это яростная вспышка..."	67
"Наконец-то мы вместе. Окончилось бегство..."	67
"Люби меня, какою я бываю..."	67
"Уткнуться в тёплое плечо..."	68
"Мы как будто плывём и плывём по реке..."	68
Колыбельная	69
Пожелания	69
"Проснулась: слава богу, сон!..."	69
"А то, что было всё "по правде"..."	70
"Я в глазах твоих укор читаю..."	70
"Вся суета, вся злость и грязь..."	70
"Кого я выплесну нечаяно..."	71
"Запахи, звуки, шорохи, тени..."	71
"Вновь гадалки дотошные..."	71
"Я беру, как собака, след..."	72
"Мне прошлое дышит в затылок..."	72
"Что живо в тебе закипанием крови..."	72
"На клеёнке блик играет..."	73
"В альбоме старом дремлет времечко..."	73
Сны	73
"Какое странное посланье..."	74
"Я видела ад. Это мир без любви..."	74
"На удочку – ах! – уличного сходства..."	75
"Вас жизнь разметала, смела, растоптала..."	75
"Нет очевидцев той меня..."	76
"Спешу я к родной могилке..."	76
Письмо отцу	77
"Я хотела бы на кладбище еврейском..."	78
"За окошком ветра вой..."	78
"Дни холодней и короче..."	79

Листопад	79
"Стара для жизни, молода для смерти..."	79
"Нет уж тепла в помине..."	80
"Я продлевала вечера..."	80
"Увядая, облетая..."	80
"Как завести мне свой волчок..."	81
"Чья вина или Божья немилость..."	81
Четверостишия	82
"Когда надо мною отдернулся занавес..."	82
"Вся жизнь моя – это письмо..."	82
"Обогащаюсь – и нищаю..."	82
"Слова, которых я не написала..."	82
"Как сорными лопухами..."	82
"Бог у поэтов ходит в суфлёрах..."	82
"Писать, чтобы душой – чиста..."	82
"Тех сестёр разлучила суровая жизнь..."	83
"Отрада моя и растрava..."	83
"Вздыхаю, вглядываясь в черты..."	83
"Не прихорашивается для встречи..."	83
"Жизнь смешала были, небыли..."	83
"Дар ли се небес?..."	83
"Ты не яблоко, ты облако..."	83
"Незакормленный, незалюбленный..."	83
"Как ничтожен зазор меж любовью..."	84
"Солнцу – не грей, огню – не гори..."	84
"Когда я ухожу из человека..."	84
"У меня собачья тоска..."	84
"Я прихожу в отчаянье, как в дом..."	84
"Как волны, беды прибывают..."	84
"Чем, какую уловкой..."	84
"Когда экзамен жизни жалкой..."	84
"Что там, в этой мёртвой остуди..."	85
"Опять не сплю. Не сон, а сплин..."	85
"Когда опять удушьем занедужишь..."	85
"Поэзия – чудо звука и чувства..."	85
"Велик зазор меж словом – делом..."	85
"Жить бы весело и смело..."	85
"В реанимации, в рай не доехав..."	85
"О Матерь Божья, уйми нас..."	85
"Снова надежда безумная гложет..."	86
"Ты не верь мне, когда мелю во хмелю..."	86
"День прожит. Проскользнул, как вор..."	86
"Как бы жизнь ни гнула долго нас..."	86
"Сладка надежда, скепсис кисл..."	86
"К тебе летит мой каждый час и сон..."	86
"Постарею, побелею..."	86
Двустиишия	87
Федерико (поэма)	88

Монолог Людмилы Дербиной, невенчанной жены Николая Рубцова (исповедь)	96
НОВЕЛЛЫ, ЭССЕ	101
Детство моё, постой...	102
Дерево первой любви	109
Невостребованный подарок	112
Призраки бывшего города	113
Образ счастья	118
Не признавайтесь в любви никогда	120
Когда человек умирает...	122
...Тем больше люблю собак	125
Сны	138
Гений	146
ПАМФЛЕТЫ	172
Немужская поэзия	173
Слово о предисловиях	180
Сон катится золотой... (о стихах С. Кековой)	190
Русофобия	208
Как я не стала телеведущей	218
ЗАМЕТКИ	231
Смехотворинки	232
Тяжёлый вес	232
Хоть бы раз заштопать...	232
Трагический возраст	233
Любовь слепа	234
Она любила свободу	234
Лай по существу	234
Достоинство	234
Не смог любить	235
Разговорчики	235
Готова более чем	235
Моя недвижимость	235
Спасибо, не надо	235
Аборт книги	236
Несравнимый поэт	236
Портрет с мужем	236
Непредупредительная острота	236
Приятный собеседник	237
Любимый афоризм	237
Зачем вам маца?	237
Удивительное рядом	238
Парфюмеры	238
Смертельный диагноз	238
Приятная поэзия	239
Святые слезы	239
На любителя или ценителя?	240
Домашние экспромты	240

Литературно-художественное издание

Кравченко Наталия Максимовна

По горячим следам

Оригинал-макет подготовлен Н.Подкосовой

Подписано в печать 1.09.2003. Формат -84x108 1/32 Бумага
офсетная №1 Гарнитура Таймс. Усл. п.л 10 Тираж 200 экз.

Приволжское книжное издательство,
г. Саратов, ул. Вольская, д.58